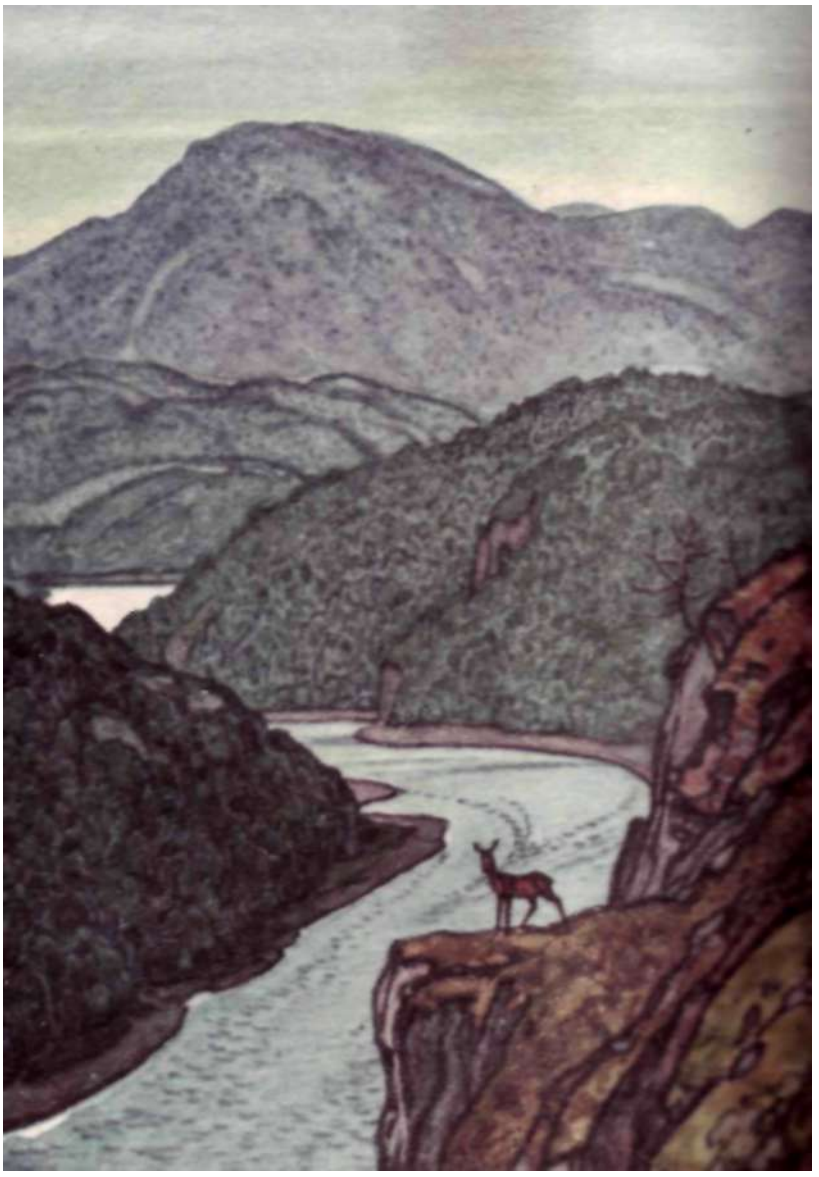
К95

Сергей Кучеренко

Лесные знакомства



Сергей КУЧЕРЕНКО

Лесные знакомства

Новеллы

Художник
Л. КУЗНЕЦОВ

Хабаровское
книжное издательство
1986

ОТ АВТОРА

Я рос глаза в глаза с природой. Николаевна, дальневосточная деревушка моего детства, растянулась вдоль большого залива реки Тунгуски, и почти у каждого дома были просторные огороды. По тихим зеленым улицам свободно расхаживали куры, утки, гуси, свиньи и козы. На зорях мимо домов проходило мычащее «войско» коров, за околицей табунились лошади...

А вокруг, куда ни глянь, раскинулась широкая пойменная низменность, вдоль и поперек иссеченная протоками, старицами и озерами. И было там царство разных удивительных рыб, а в просторных лугах и лесах — неперечетно птиц и всякого зверя.

У каждого есть своя, немеркнущая всю жизнь светлая память детства: дом, улица, школа, первая любовь... Мое детство — это в первую очередь рыбы, птицы и звери, зеленые просторы и вода, роса и зори, дождь, снег и ветер... Десятилетними пацанами мы уже совершали нелегкие дальние походы за грибами, ягодами и орехами, в любую погоду плавали на весельных лодках и вертких оморочках.

Наши ребячьи души были чисты и непосредственны, и, общаясь с природой, мы искренне стремились понять ее во всем невероятном разнообразии, хотели сами докопаться до всех ответов на наши бесчисленные «почему?», "зачем?", "как?", «где?» и «когда?».

Детство нашего поколения резко оборвалось летом сорок первого, и мои сверстники, как могли, разделяли трудную жизнь взрослых. Не бросая школу, я взялся за отцовское дробовое ружье. И не столько по наследственной страсти, сколько потому, что каждая принесенная в свой дом или

соседский дичина помогала жить. А вместе с тем рыбалка, раньше интересная забава, стала нелегким трудом, наполненным впечатлениями и открытиями.

Уже в зрелом возрасте я стал биологом-охотоведом, и моей работой оказалось то, к чему тянулся со своих ранних лет: дикие животные в естественной среде обитания — у себя дома. Я ближе знакомился с ними, познавал все таинства их жизни, изучал их сложные, порою не лишенные драматизма отношения, стремился выяснить, чем животные могут служить людям и что мы, люди, должны делать в свою очередь, чтобы на земле всем хватало места: человеку, зверю, птице, рыбе, лягушке и бабочке — большим и малым детям земли.

Мне посчастливилось совершить много таежных путешествий по стране Амура и Уссури с ее удивительными животными, я побывал в ее самых глухих отдаленных дебрях, видел тысячи лесных обитателей, что называется, лицом к лицу. И было немало таких встреч, которые вместе с впечатлениями детства немеркнущими мгновениями памяти навечно отложились в ее тайниках. О них — мои новеллы, моя книга.

Волчья песня

Как-то в начале августа уродило столько грибов, что я не удержался от соблазна и поехал за ними на укромную лесную реку с загадочным названием Обор.

Я волновался, удивлялся, восхищался, носился туда-сюда... Никогда не видел такого изобилия боровиков — шутя собрали ведро отборных: молодых, ядреных, не больше кулака. Попадались и великаны, да какие — шляпка шире ведра!

И все же та поездка больше всего запомнилась не грибами...

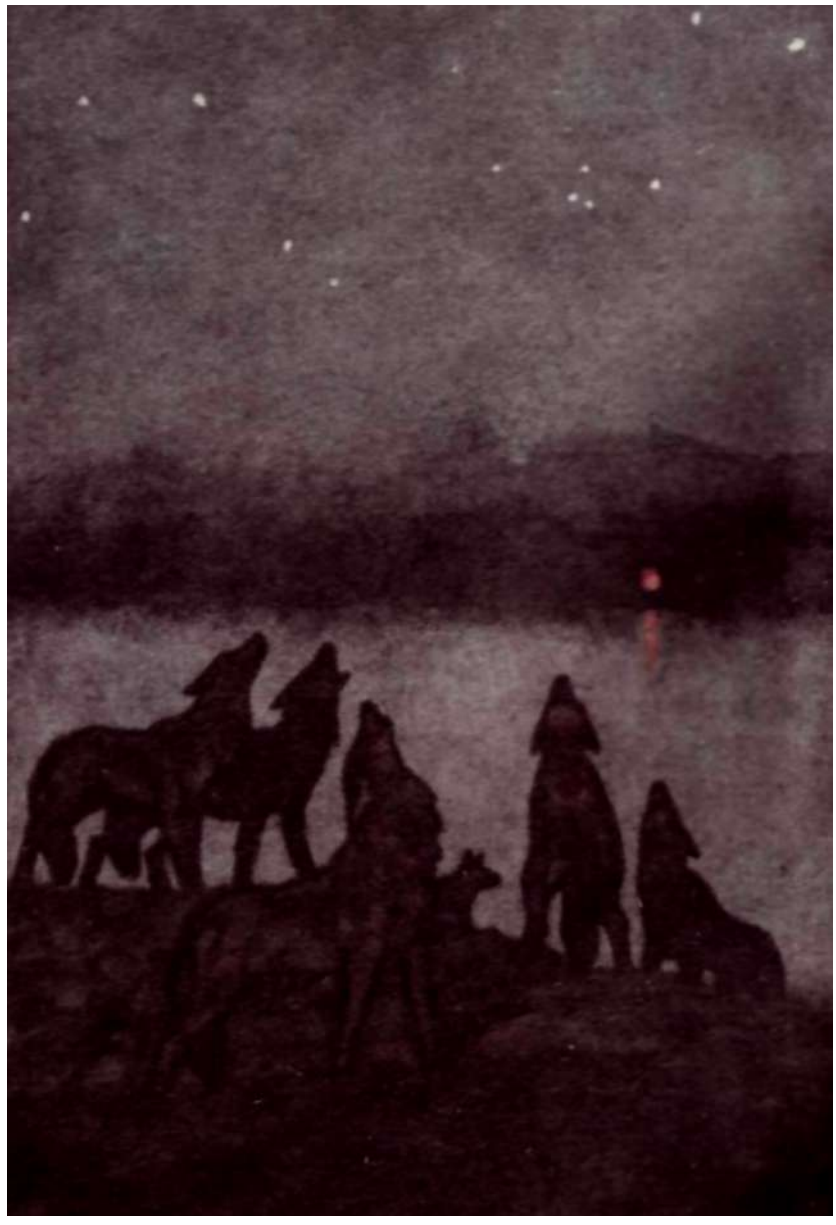
Как только густые, спокойные сумерки окутали землю, из ближнего заречья неожиданно донеслась волчья песня:

— У-ооо-ууу! У-ооо-ууу!..

Судя по отрывистому, требовательному завыванию на низких тонах, подавал голос — с хрипотцой, рокотом и угрозой — матерый волк, видно, отец семейства. Через несколько секунд с другой стороны ему отозвались на несколько голосов волчата. Они, собственно, и не выли, а скулили тоненько, от неумения и нетерпения срываясь и взлаивая на собачий манер.

А когда смолкли щенячьи голоса, в тишину врезался сильный и высокий голос волчицы. Песня суровой матери сначала тугой волной перекатывалась над рекой и лесом, потом перешла на более высокие ноты — словно тонкие длинные иглы вонзались, в черное небо — и наконец угасла на такой немыслимой высоте, что казалось, волчица умерла вместе с песней. Но, передохнув, она опять завыла — жутко и трепетно, с неожиданными стонами, жалобой и дрожью в голосе. Я и дышать перестал — будто этот высокий звериный голос пронзил сердце.

Через несколько минут, успокоившись, я услышал в волчьих голосах переговоры родителей между собой и со своим еще глупым потомством и старался понять, как различными по высоте и тембру «мелодиями», протяженностью, си-



лой голоса и другими приемами волки выражали приказания, угрозу, радость общения и тоску даже кратковременной разлуки.

А к полуночи, когда родители вернулись с охоты к своему выводку, я услышал семейную песню. Услышал раз — и запомнил навсегда.

В волчьем хоре хорошо различались голоса взрослых и молодых. Волк тянул особенно густым басом, с ударением на «о-о-о», а волчица — баритоном, всю силу вкладывая в «у-у-у». Переярки — молодежь, родившаяся весной прошлого года, еще не взрослые, но уже и не щенки,— выли неумело: брали высоко, но скоро срывались и, как бы от обиды и стыда, перебрехивались. А волчата вовсе еще и не пели песню своих удивительных предков, а так — подвывали альтами со щенячьим восторгом, хохоча над собой.

А вместе эти голоса сливались в подобие маленького оркестра. Будто и неслаженно, и не в унисон пели волки, а получалось гармонично. Сильные и чистые голоса зачаровывали до восторга и душевного трепета. Будто раскрывалось нечто беспредельно дикое, самое сокровенное из таинства природы, людьми еще неузнанное, непонятное,— а потому и жутковатое.

Скрещенные взоры

Крупных зверей, особенно хищников, сравнительно легко изучать в Африке: кати себе на автомобиле-вездеходе по гладкой, как стол, саванне и любуйся простором, рассматривай его во всех подробностях простым глазом или через чудесную оптику, которая теперь приближает наблюдаемое в десять — пятнадцать раз.

Вот вездеход осторожно приближается к семейству львов, а они лишь лениво поглядывают на тихо урчащее чудище. Иные из них разок скользнут по нему взглядом — и снова в сон или дрему... Мол, смотри как и сколько хочешь. Фотографируй, фильм снимай. Терпеливо фиксируй особенности поведения.

Или еще: стрельнул по льву, слону, носорогу, жирафу, бегемоту или еще кому-то этаким летающим шприцем, начиненным особым, на короткое время парализующим веществом,— и делай со зверем десять — пятнадцать минут что хочешь: взвесь, обмерь, вынь какой-то не очень нужный зуб для лабораторного определения возраста животного: на костях, как и на древесном стволе, есть годовые кольца... Можно на шею животного повесить миниатюрный радиопередатчик с крохотной, но очень емкой батарейкой: потом он будет посылать в эфир радиосигналы, а зоологи — их принимать, пеленговать и таким образом знать, где тот зверь, куда пошел, каковы его территориальные притязания, когда он активен, как много и как долго охотится, где и сколько спит...

В дебрях наших лесов все это недоступно: звери осторожны и недоверчивы, увидеть их и тем более близко подойти до невозможности трудно, о поездке на автомашине и речи не может быть... И потому-то таежные обитатели: волки, медведи, тигры, леопарды и другие — по сей день хранят еще много своих тайн, и каждая из них раскрывается нехотя я трудно, а порою и в рискованных обстоятельствах.

...Зоолог Приморского заповедника Строков третий год изучал экологию одного из самых скрытных обитателей уссурийской тайги — леопарда. Две зимы он упорно ходил по следам этого неуловимого хищника, стараясь и его не обеспокоить, не насторожить, не сбить с ритма естественной жизни, и по крупицам собрать свежий достоверный материал — и в то же время самому не оказаться в роли «объекта наблюдения»: леопард, как и тигр, почувствовав преследование, часто заходит человеку сзади, и тогда уже не поймешь, кто за кем следит.

Весной минувшего года Строкову посчастливилось найти в горах обитаемое логово леопарда с котятами, но мать вскоре обнаружила человека и, нимало не испугавшись, а просто благоразумно оберегая детенышей, перенесла их в другое, наверняка давно присмотренное на подобный случай, убежище.

Зоолог долго я внимательно изучал оставленное логово и наконец пришел к выводу: оно настолько удобно для матери и детенышей, что рано или поздно обоснуется в нем не та, так другая беременная самка леопарда, а то и тигрица.

И в самом деле: достаточно глубокая, сухая ниша-пещерка в скалистом обрыве надежно укрывала от дождей, снегов и ветров, просторная площадка перед нею большую часть дня щедро освещалась солнцем и имела небольшой наклон к обрыву, отчего после дождей подсыхала быстро. Подход к логову был лишь сверху, по узкому карнизу; с площадки хорошо обозревались и ближние окрестности, и дали, а если вскарабкаться на вершину обрыва, то открывалось зорким кошачьим глазам и далекое море.

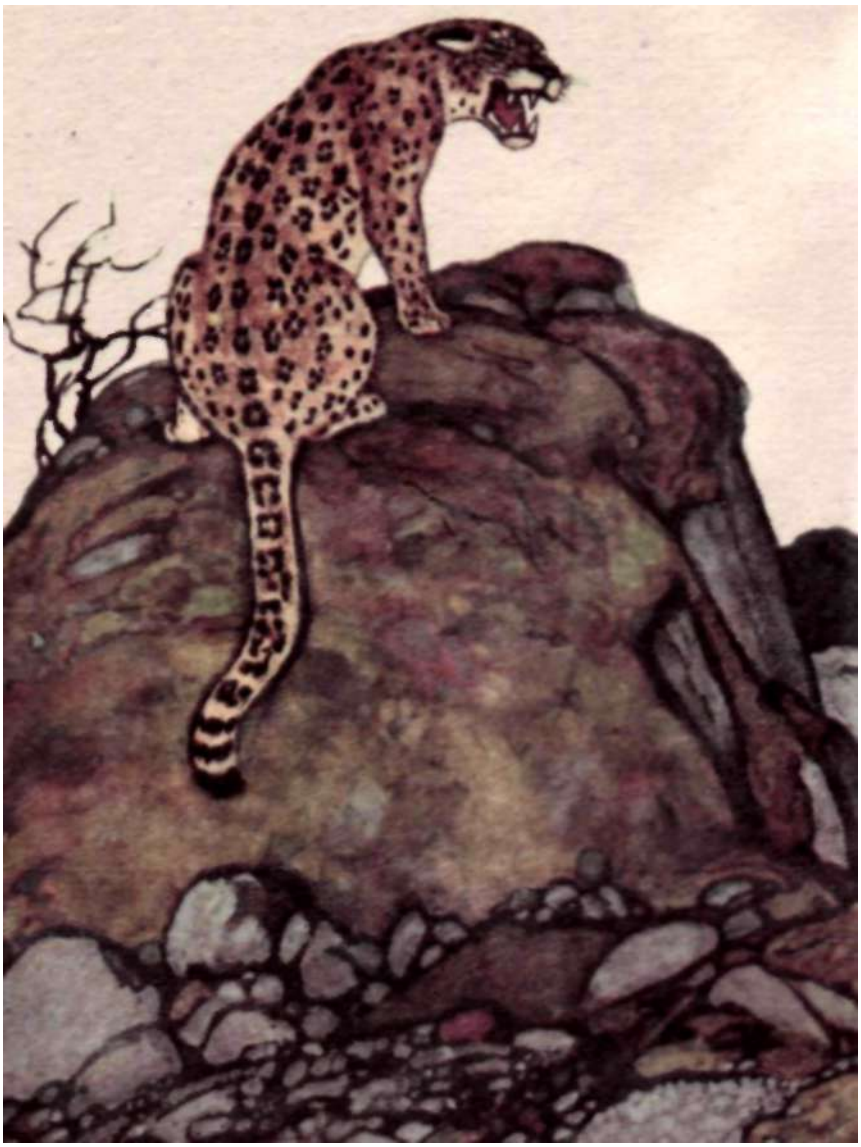
На противоположной, тоже обрывистой, стороне распадка, в трехстах метрах от логова, соорудил Строков с помощью егерей подобие каменного домика, устроил в нем удобную мягкую лежанку, запасся сильным биноклем, объективом— «телевиком» и стал ждать...

И вот в марте там появилась леопардиха на сносях. Иногда ее посещал супруг, и тогда они подолгу грелись на площадке, нежно уложив головы друг другу на спины. Строкову даже иногда казалось, что он слышит их счастливое мурлыканье.

Потом отяжелевшая самка десять дней из логова не показывалась. Вылезла наконец поджарой, стройной и очень озабоченной, а еще через десять суток вынесла на яркий, теплый свет весеннего солнца трех беспомощных котят. Отец семейства теперь появлялся лишь изредка, и приходил он не просто повстречаться, а тоже озабоченным, приносил подруге что-нибудь поесть: кусок туши косули или оленя, поросенка или зайца, не то птицу какую. Приносил — и тут же удалялся на карниз повыше логова: мать не позволяла ему быть рядом с детьми, и он, налитый тугой гудящей силой, довольно подчинялся.

На глазах Строкова очаровательные рыжие, пятнистые малыши росли и мужали, играли и знакомились с ближним миром. А их мать все чаще и чаще отлучалась на охоту. И однажды случилось то, ради чего я и затеял этот рассказ с пространным вступлением.

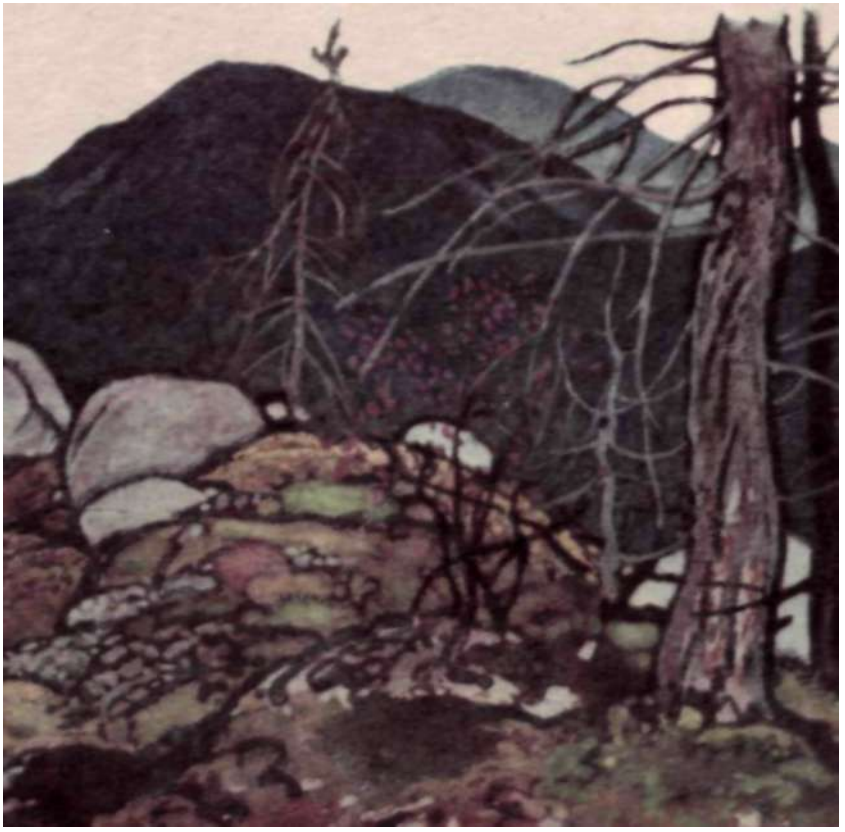
...Незадолго до полудня Строков, осторожно пробравшись из-за недалекого гребня горы в свой каменный наблюдательный пункт, удобно улегся и привычно поймал биноклем звериное логово. Было там все тихо и будто бы безжизненно. Десять минут прошло, час... И вдруг зоолога точно коснулось что-то обжигающе холодное, страшное... Еще не понимая, откуда это и что, он медленно повернул голову... и в упор увидел глаза неслышно подошедшего



к нему сзади леопарда. Большие, желтовато-зеленые, широко и смело распахнутые, холодные. В какой-то паре метров! Черно-пятнистая морда с рыжим носом, широкий разлет жестких усов, маленькие настороженные уши...

Строков не пошевелился, не обронил ни звука — он от неожиданности заледенел, успев подумать, что смотрит в лицо своей смерти, умеющей отбирать жизнь мгновенно.

Но были их взоры скрещены недолго. Леопард, вздыбив по хребту шерсть, зло сморщив морду и приоткрыв пасть, показал белую эмаль мощных клыков, выжал из себя приглушенный утробный рык и медленно, ни в малой мере не теряя достоинства, пошел прочь, то и дело оборачиваясь на неподвижного человека. В двух десятках метров



он остановился и сел, разглядывая Строкова и раздумывая, что предпринять далее и опасно ли неожиданное соседство для детенышей.

Теперь и Строков, отойдя от первого испуга, зачарованно рассматривал своего «подопечного»: стройную, сильную фигуру, полыхавшую расплавленным золотом в потоках солнечного света, затейливый рисунок леопардового «комбинезона», «выражение лица», извивающийся хвост... Подумал: какая неласковая, истинно демоническая красота, какое удивительное сочетание силы, отваги и осторожности!

Затем он, овладев собой, тихо вылез из своего «логова», приговаривая: «Ну что ты злишься... успокойся... будем жить мирно...» И тоже присел. Леопард, конечно, не понял смысла слов, но определенно уловил их спокойствие и миролюбие. И беззвучно растворился в резких тенях еще не озеленившегося леса.

Когда зверь через пять минут прокрадывался по той стороне распадка в свою пещерку, сердито и все еще недоверчиво оглядываясь, Строков на его глазах ушел за гребень горы, чтобы тот еще больше уверился: не таит зла и не несет опасности это двуногое существо, с которым леопард вот уж сколько лет поддерживает «вооруженный нейтралитет» и тщательно избегает встреч.

Отважный горностай

В полночь выпала пороша, к утру прояснилось, а когда багровое от холода солнце засветилось сквозь гребенку лиственниц на недалеком перевале, термометр показывал минус тридцать три. Нам с проводником предстоял небольшой переход за перевал, этак километров пятнадцать. Дорогу мы знали, а потому вышли часов в одиннадцать, когда стылое солнце уже оторвалось от гор и чистый снег заискрился в его лучах.

С нами бежала, небрежно забросив свернутый в тугое кольцо хвост на спину, крупная лайка — испытанная охотница. Она прочесывала тайгу по нашему пути, не пропус-

кая ни выворотня, ни груды камней. И даже в снег то и дело совала нос, принюхиваясь, а потом отфыркиваясь.

Деловито заглянув под валежину, собака вдруг заволновалась и, завиляв кольцом хвоста, исчезла под ней, но тут же выскочила с другой стороны и на махах, нюхая воздух, кинулась в гущу старых елей у ключа. А через полминуты залаяла, да так звонко и азартно, что мы решили: соболя взяла.

Лайка вертелась вокруг кучи снесенного летним паводком хлама, совала нос под него, нетерпеливо сопела, фыркала, взлаивала и поскуливала. Зверек был, конечно же, под завалом, и мы стали помогать собаке, вороша хлам палками. Но мелькнуло раз и два белое — и мы разочаровались: не соболь там был, а горностай!

А собака металась. Натыкаясь на резкий запах, которым зверек оборонялся, она фыркала, кашляла и даже слезу пустила, но не отступала.

В какой-то миг раздался ее громкий, отчаянный и обиженный лай. И даже не лай, а визгливый вой. Собака затрясла головой, пытаясь сбросить горностая, вцепившегося в ее нос зубами и когтями всех четырех лап. И было так странно видеть здоровенного пса, атакованного крошечным зверьком, весившим раз в сто меньше, да еще как атакованного — дерзко, отважно!

Мы кинулись выручать лайку и уже были рядом, когда горностай пружинисто оттолкнулся от собачьего носа, взвился в воздух, отскочил метров на пять, зло оглянулся на нас, а потом вскочил на валежину.

Собаке стало не до горностая — она, завалившись в снег, слизывала с носа обильно капавшую кровь. Я торопливо полез в рюкзак за фотоаппаратом и помчался к валежине, на ходу расстегивая футляр, взводя затвор и устанавливая выдержку. А горностай как бы позировал, застыв олицетворением ловкости, смелости и, пожалуй, горделивого чувства собственного достоинства. На фоне черной коры валежины четко выделялось его белое тело, оттенявшее угольки глаз и темный кончик носа. И еще выделялся конец хвоста (его горностай будто ненароком обмакнул где-то в тушь). Хвост ходил туда-сюда, то поднимаясь вертикально, то изгибаясь, словно знак вопроса. Что поделаешь, испытать такое волнение и напряжение — не шутка!

Когда я подошел слишком близко, горностай опустился на передние лапки, выгнул спинку дугой и стал... угрожать

мне! Поводил головой и шипел по-змеиному, яростно и громко стрекотал, зло фосфоресцировал отважными глазами и даже сверкал тоненькими лезвиями клыков. Просто не верилось: под нежной меховой шубкой внешне безобидного, очень милого симпатяги крылось столько смелости!

Я уже приготовился щелкнуть затвором, но зверек вдруг оказался в тени. Подождав немного, я сломил длинный хлыст высохшей лещины и осторожно подвел ее конец к горностаю, намереваясь передвинуть его на солнце. Но тот так напружинился, следя за движениями ветки и моим лицом, что я почувствовал: он готов вцепиться в мой нос так же решительно, как и в собачий. Я не стал рисковать и бросил хлыст. А горностай метнулся прочь и как сквозь землю провалился. А точнее — не сквозь землю, а под снег нырнул...

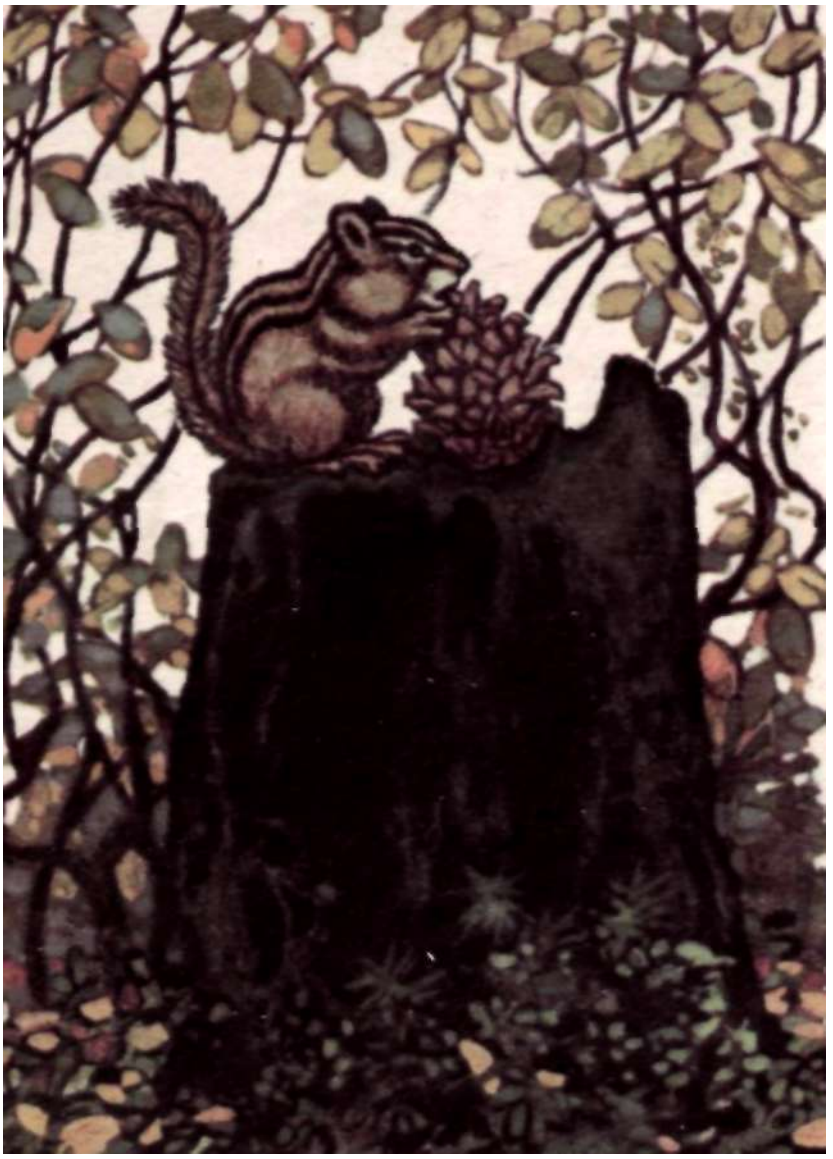
Бурундук

Был тихий сентябрьский день. Планировали к земле отжившие свое листья, неистово ревели страстные изюбры, высоко в небесной сини тянулись к югу гуси. В кронах кедров увлеченно шныряли белки.

И было много бурундуков, тоже поглощенных кедровыми орехами. Только вели они себя иначе, деловитее; белка нагрызлась, наелась, кое-что засунула в лесную подстилку про черный день — и спать, а бурундуку надо набить свои подземные кладовые продуктами на всю долгую зиму, и он с утра до вечера носится с одной жгучей заботой: быстрее, больше, еще! И с утра до вечера свистит в возбуждении, оповещая соплеменников о том, что участок занят и другим на нем делать нечего.

...Увидел я бурундука неожиданно: он суетился на пне, озаренный солнцем, а я как раз ступил в густую тень кедринок-подростков. Ступил и замер.

Бурундук сидя лущил шишку, ловко и быстро извлекая лапками орехи и торопливо засовывая их в защечные мешки, которые уже вздулись и делали его уморительно смешным и немного печальным, будто страдал он двусторонней свинкой.



Собираясь в очередной рейс с провиантом к своей норе, бурундук почуял что-то недоброе и уставился в ту густую тень, скрывавшую меня. Я совсем замер, даже моргать перестал, а полосатенький смотрел уже на меня, прямо в лицо, да так недоверчиво! Приподнявшись столбиком и опустив передние лапки на брюшко, он потешно вытягивал шею, поворачиваясь ко мне то одним блестящим выпуклым глазом, то другим, и вдруг застыл на целую минуту. А я любовался этим полосатым зверьком, щедро облитым солнцем, и пытался представить, что происходит сейчас в глубинах его психики, знаком ли он с человеком.

Вроде бы успокоившись, бурундук спрыгнул с пенька и исчез. Я осмотрел шишку. В ней было еще много орехов — значит, через несколько минут мой знакомец будет здесь.

Пока он носил запас в свою нору да, быть может, сортировал его, хозяйски оценивая, мне вспомнилось, как несколько дней назад я видел бурундука вялым и меланхоличным. Будто в печали какой сидел он на валежине и этак горестно и трогательно причитал: «Квук-кву-квук!..», «бурун-бурю-бурун!..» На меня он внимания не обращал. Знал я, что так ведет себя эта зверюшка перед непогодой, и к вечеру действительно пошел дождь.

...А этот? Где же он? А, вот! Вспрыгнув на пенек, «мой» бурундук опять некоторое время внимательно изучал меня и снова не усмотрел во мне опасности. Словно спохватившись, он вдруг взялся за свой туалет — стал торопливо чистить лапками, зубами и языком свою шубку. Забыл обо мне? Нет, он прервал свое занятие и снова уставился вопрошающе: «Да что же это за коряга появилась в моих владениях?»

Я не выдержал и засмеялся. И сразу же не стало на пне бурундука. Был, вот-вот был — и уже нету...

Косолапый пчеловод

Было тихо и знойно. Забравшись на крутую сопку, я уселся на большом камне и, переводя дыхание, смотрел в дальние дали. Огромные зеленые уступы Сихотэ-Алиня,

кое-где запятнанные проплешинами каменистых россыпей и скал, на расстоянии голубели, а вдали как бы таяли в жарком мареве и сливались со струящейся светлой дымкой горизонта. И над всем этим царством величественных гор, роскошно-дремучих лесов и затейливого переплетения ключей, ручьев и рек опрокинулось бездонно-глубокое, ослепительно синее небо с белыми причудливыми облаками.

Меня обступили могучие кедры, задумчивые ели, стройные и красивые каменные березы. Рядом с ними толпились белокорые пихты, развесистые клены, коренастые дубы, огромные липы, а вперемежку с ними — бархат амурский, орех маньчжурский, пальмовидная аралия и даже непонятно откуда взявшийся здесь древний старичок — тис остроконечный.

Все они мне были давно и хорошо знакомы, и я рассматривал их спокойно, внимательно и любовно.

А в какое-то мгновение я от неожиданности вздрогнул: где-то недалеко, ниже меня по склону, явно под тяжелой лапой громко хрустнула сломанная ветка, потом мелькнуло что-то черное, застыло в тени и снова зашевелилось.

Зверь шел крупный, но лес был" так густ, что я увидел его не далее как за тридцать метров. Это был уссурийский медведь, которого называют то черным, белогрудым, то гималайским медведем, а некоторые охотники даже муравьятником. Он брел спокойно и неторопливо, уткнув сопящий нос вниз, временами останавливаясь, сосал ягоды, хрумкал кореньями и аппетитно причмокивал.

Потом он остановился около большой старой липы, привстал на задних ногах и облапил передними ее толстый ствол. Приложил к нему ухо, прислушался, шумно задвигал черным носом, часто вдыхая какой-то соблазнительный запах. Нетрудно было догадаться, что медведь учуял диких пчел, до меда которых он большой любитель. И разве же мог он упустить возможность полакомиться!

Но не так-то просто было добраться до сотов. Сильно шлепнув несколько раз по стволу липы и прислушавшись, зверь, очевидно, понял, что его не сломать, и начал грызть.

Сначала облетела темно-серая шершавая кора, оголив желтый луб, потом ярко забелела живая влажная древесина. В нетерпении и азарте медведь сначала ворчал, потом коротко взревел раз, другой, третий и, наконец, зарычал громко и зло, резко дергая ствол липы.

Пчелы набросились на грабителя дружно и ожесточен-

но. Медведь от них сперва отмахивался то одной лапой, то другой, упрямо добиваясь своей цели, потом замахал обеими, а рев его перешел в высокий и обиженный вой. Не выдержав бурной атаки многочисленного пчелиного войска, самоотверженно защищавшего свой дом и плоды неустанных трудов, медведь, окруженный клубом крохотных истребителей, с отчаянным криком помчался... прямо на меня.

Белогрудый медведь на людей не нападает, но, опасаясь, что мне от пчел тоже может не поздоровиться, я вскочил со своего камня и громко крикнул: «Куда прешь, косолапый!» Вдобавок еще крепко ударил палкой по стволу.

Увидев нового недруга, косолапый взревел еще громче и обиженнее и... вскочил на большой кедр. Правильнее было бы сказать — залез, но он забрался по неохватному стволу на десятиметровую высоту так ловко и быстро, что я и употребил именно это слово — вскочил. Усевшись на толстый сук, медведь одной лапой обнял дерево, а другой то отбивался от одиноких пчел — остальные потеряли его при столь неожиданном маневре,— то чесал искусанную морду и недовольно посматривал на меня.

Я отступил, спрятался в густом кустарнике и наблюдал за неудачником еще несколько минут. Немного успокоившись, он осторожно, вроде бы пятясь, сполз с кедра и опрометью кинулся куда-то вниз по склону горы. Вероятно, к речке, чтобы умыться, охладиться и справиться с болью от многочисленных укусов.

И снова знойная тишина заволокла лес...

Калуга-царица

Двенадцатилетним мальчишкой — как давно это было!— я плыл на легкой оморочке по широким разливам июньского половодья Тунгуски среди лесных зарослей. Было тихо и жарко, с полуденного неба неистово палило солнце. Иногда его прикрывали облака, и тогда жара сменялась заметной прохладой. Тянул легкий ветерок, воду рябило, нежно-зеленые верхушки торчащих из воды трав покачивало, серебрились листья тальников...

Я смотрел на это буйство и думал, где бы еще порыбачить. Уже было поймано около двух десятков карасей, дюжина косаток, пара сомов, щука, но так хотелось для «комплекта» выудить сазана... Этак килограммов на десять, каких часто и запросто ловил мой отец.

Когда речной разлив сменился темным глубоководьем,

снизу по оморочке вдруг что-то глухо и сильно ударило. По сторонам поднялись огромные сверкающие пласты воды, а я растопырил руки и ноги в «свободном полете»...

Оказалось, оморочка неожиданно наткнулась на гревшуюся под солнцем или просто зачем-то всплывшую со дна одну из тех громадных рыбин, какие водятся лишь в бассейне Амура. Это была калуга. Падая в воду, я успел заметить мощную лопасть растопыренного хвоста, широкое светлое брюхо, желтые грудные плавники размером с хороший веник, желто-зеленую глыбу могучей шершавой спины, всю в рядах островерхих костяных пирамидок-бляшек... И еще маленькие, круглые, ничего не выражающие глазки.

Вообще-то калуг я уже видел — уснувшими, конечно, в тонях рыбколхоза. Попадались величиною и с бревно. Сядешь верхом на спину — будто на коне... При мне как-то из калужьего желудка выпотрошили с полмешка рыбы, среди которой были крупные сазаны, сомы и даже щуки. Однажды рыбаки расправили и вытянули в трубу рот лежащей на боку калуги и смеются: а ну-ка, Серега, попробуй — влезешь? Голову и плечи я просунул свободно...

Все это в те секунды промелькнуло в памяти мгновенно, и, окунувшись с головой в воду, я захлебнулся запоздалым страхом. Держусь за опрокинутую вверх дном оморочку, ногами сучу, и кажется мне, что вот-вот утянет меня этот водяной и проглотит!..

Жуткие минуты страха, пока я не догадался, что больно-то нужно было мое костлявое тело царь-рыбе калуге, до сих пор помню.

А больше — ничего: даже не помню, как вычерпывал воду из оморочки и подгребал к далекому берегу, когда вернулся домой...

Рыбьи пляски

Будоража и коверкая сонную тишину знойного летнего дня, моторка ворвалась на зеркальную гладь речного залива, в котором отражалась тайга, и потянула пенно-бурунный след вдоль притопленных тальников.

Вдруг по обе стороны от буруна запрыгали крупные рыбы. Они взмывали, вспыхивали серебряным пламенем и шлепались в воду, вздымая фееpическую россыпь алмазных брызг. Вот полуметровая рыбина взметнулась из-под пласта воды, вывернутого острым носом лодки, и пролетела вдоль борта так близко, что я успел хорошо разглядеть ее. То был толстолоб, или, как его иногда называют, толстолобик — амурский житель, широко расселенный теперь по рыбоводным прудам, искусственным водохранилищам и каналам почти всей страны, потому что он, поедая тьму микроскопических водорослей, спасает водоем от губительного зарастания, а потом отдает людям вкусное мясо.

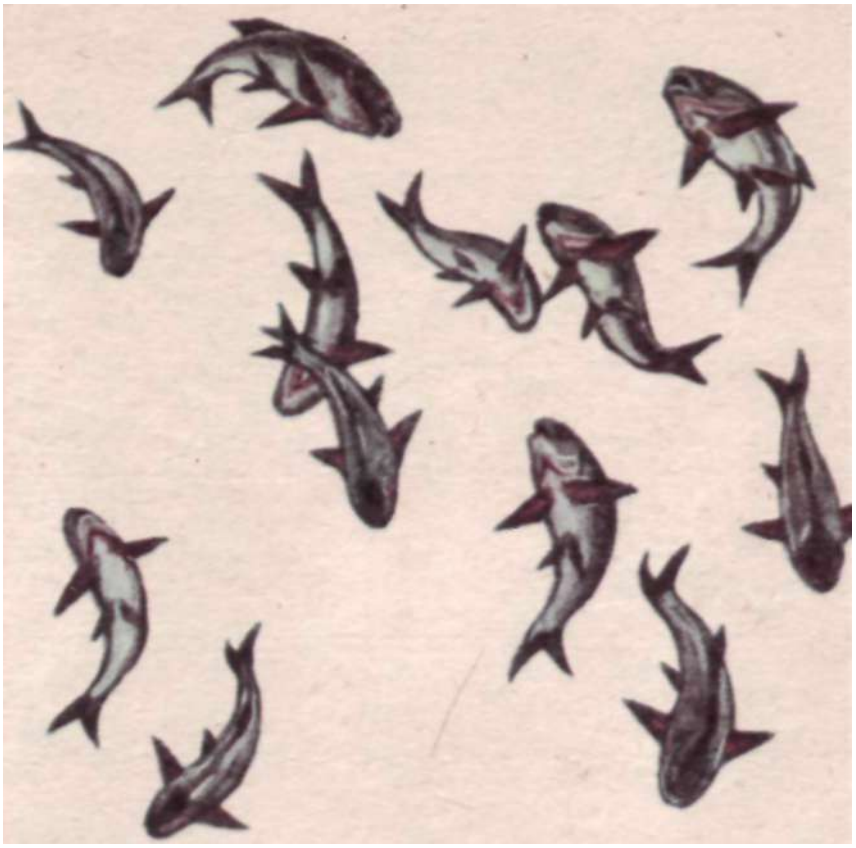
Их выпрыгнуло, наверное, с десяток. Мой молодой моторист кричал восторженно и дико, махая руками и подпрыгивая, швыряя лодку в опасные виражи в погоне за взлетающими живыми торпедами. А я вспомнил...

...Я тихо толкал деревянную лодку шестом, направляя ее через затопленные зеленокудрые кочки к широкому разливу, на дне которого лежал мой перемет, наживленный лягушками. И подсчитывал: позавчера снял с этой снасти восемнадцать сомов, вчера — пятнадцать, сколько же нацеплялось за эту ночь? И какой из них окажется самым крупным, и будет ли больше того пудового, полутораметрового, который уже два дня стоит живехоньким, шевеля усами и жабрами, в темной и холодной глубине затопленного погреба?

Когда лодка наконец пробралась сквозь кочки и свободно заскользила вдоль берега, меня неожиданно окликнули. Оборачиваясь, я поскользнулся босыми ногами на осклизлом мокром днище и упал, загремев шестом. И тут же вода взорвалась пляской большого косяка толстолобое, сытый покой которых я, видимо, этим шумом нарушил.

Они беспорядочно выпрягивали из воды, перелетали через лодку. Их было так много, что я и со счета сбился! Ошалело глядел на них, когда здоровенный толстолоб, будто прицелившись, ударил меня в затылок, да так крепко, что загудело в голове, а он запрыгал в лодке. Рядом с ним забился другой, судорожно глотая воздух...

И вдруг, как по команде рыбьего бога, все стихло. Лишь разбегались по глади, перехлестываясь и гасясь, круги. Шевелились метелки полузатопленного вейника, тихо покачивалась лодка. А в ней уже засыпали толстолобы: прилипнув к дну, они вяло шлепали хвостами да все реже и реже



прогоняли воздух через гибельно подсыхающие жабры, отравляясь чудовищным для них избытком кислорода. Тускнели, быстро высыхая, серебристые кольчуги, туго обтягивающие почти полупудовые тела.

Сейчас, тридцать лет спустя, такое зрелище ошеломило бы любого видавшего виды рыбака, а тогда... Тот, кто окликнул меня, без всякого волнения или возбуждения спросил: «Живой, Серега? Не затопили лодку толстолобы? — и сквозь зевоту добавил: — Отец велел тебе пошукать мерина, стога ставить надо...»

Сегодняшняя пляска десятка толстолобое не шла ни в какое сравнение с той, какую довелось наблюдать в детстве. И все-таки может статься, что я со временем и ее буду вспоминать как чудо... Разумеется, если не произойдет другое чудо — возврат былого изобилия амурских рыб.

Ласточки

Кто их не любит, этих красивых, безобидных птиц, чарующих великолепием и легкостью стремительного полета?

Я и теперь, много лет спустя, заметив ласточку-касатку, вспоминаю детство.

...Гнезда они обычно устраивали под карнизами домов и сараев, а чаще всего — под прикрытием широких крыш старого кирпичного завода, мимо которого пролегала моя рыбачья тропа от дома к заливу. Из школьной зоологии я уже знал, что такое инстинкт, но когда заметил, что ласточки в стенке гнезда аккуратно укладывают для связующей прочности стебельки трав, конский волос и даже тряпичные полоски, веревочки, нитки, будто арматуру в бетон, что они постоянно переговариваются между собой — конечно же, на деловые темы,— во мне зародился протест против объяснения их деятельности одними лишь инстинктами. По этому вопросу я обменялся мнениями с «зоологичкой» слишком бурно и получил двойку.

Однажды июльская гроза, неистовствуя, не только повалила огородные заборы и подгнившие телефонные столбы, в нашей таежной деревушке, но и посрывала кое-где крыши, повыворачивала состарившиеся березы и тополя, развалила штабеля досок. Пробегая на следующее утро с ворохом удочек мимо завода, я услышал тревожный гвалт и увидел на краю карниза птиц, суетящихся у разоренного вчерашней грозой гнезда. Ветром отвалило его побольше половины, из оставшейся треснувшей части выглядывали три еще желторотых ласточенка, а их родители цеплялись за стенки сарая рядом и, щебеча, будто плакали над неутешным горем, просили помощи. Казалось, остатки гнезда вот-вот отвалятся.

А другие ласточки поочередно подлетали к пострадавшему гнезду, зависали возле него на трепещущих крыльях, словно обдумывая, что предпринять, и отлетали.

Зорька разгоралась, и я поспешил, чтобы не прозевать клев.

Возвращаясь около полудня с доброй связкой карасей-лапотников, я заметил, что у касаток в разгаре аврал — ремонт гнезда «всем миром». Трещина была аккуратно заделана — ее было заметно лишь по темной полосе еще сырой глины, все гнездо было нарощено до свода к летку, а ласточки с комочками строительного материала в клювах подлетали одна за другой...

Еще через пару часов гнездо было полностью восстановлено, и ласточки стремительно носились над заливом, то с лёта соприкасаясь с его гладью грудкой, брюшком или крылом, то взмывая под небеса.

Еще тогда я подумывал: как дружны эти милые птицы! И как бы подтверждая мою оценку, однажды они устроили такое, что помнилось всю жизнь.

Я не знаю, почему очутился во владениях «моих» касаток ястреб-тетеревятник, но однажды, примчавшись на гвалт над старыми крышами кирпичного завода, я увидел: ласточки отчаянно, яростно и отважно атаковали хищника.

Ему, конечно, ровно ничего не стоило умертвить небрежным ударом острого клюва или легким взмахом когтистой лапы одну птицу, другую, третью. Но их были десятки, и все были так дружны, так едины в своем устремлении, так решительны и смелы! Громила-ястреб постыдно отступил, трусливо нырнув в густую кущу старого тополя. Ласточка, как известно, не столь ловка на ветках, как, скажем, воробей или синица — она сильна крылом, ее стихия — небо. И все же касатки роем облепили тополь и, распаленные битвой, добрались до противника и там.

Ястребу ничего не оставалось делать, как продолжать бегство. Теперь он летел низко, маневрируя между строений, кустов, вдоль огородных заборов... В маневренности полета ласточкам до него далековато, и они этаким истребительным эскортом сопровождали хищника сверху до его лесных владений.

...Не надо думать, что дружба, взаимопомощь и самопожертвование присущи только людям,— и у животных эти свойства встречаются часто, особенно у тех, что живут колониями и сообществами: у муравьев, термитов, пчел, пингвинов, гусей, чаек, слонов, оленей, антилоп, морских котиков, моржей, китов... У тех же крыс. Оказывается, даже им свойственны не просто дружба и взаимопомощь, но даже бескорыстная забота о других, готовность жертвовать для них собою.

Родительская самоотверженность

Однажды ясным июньским днем, в своих странствиях по тайге, увидел я супружескую пару редчайших и красивейших птиц — японских журавлей. Их на всей нашей планете осталось всего-то не более трехсот, а прилетает на гнездовье в наше Приамурье этак восемьдесят — девяносто, самое большее — сто птиц, и вот мне несказанно повезло.

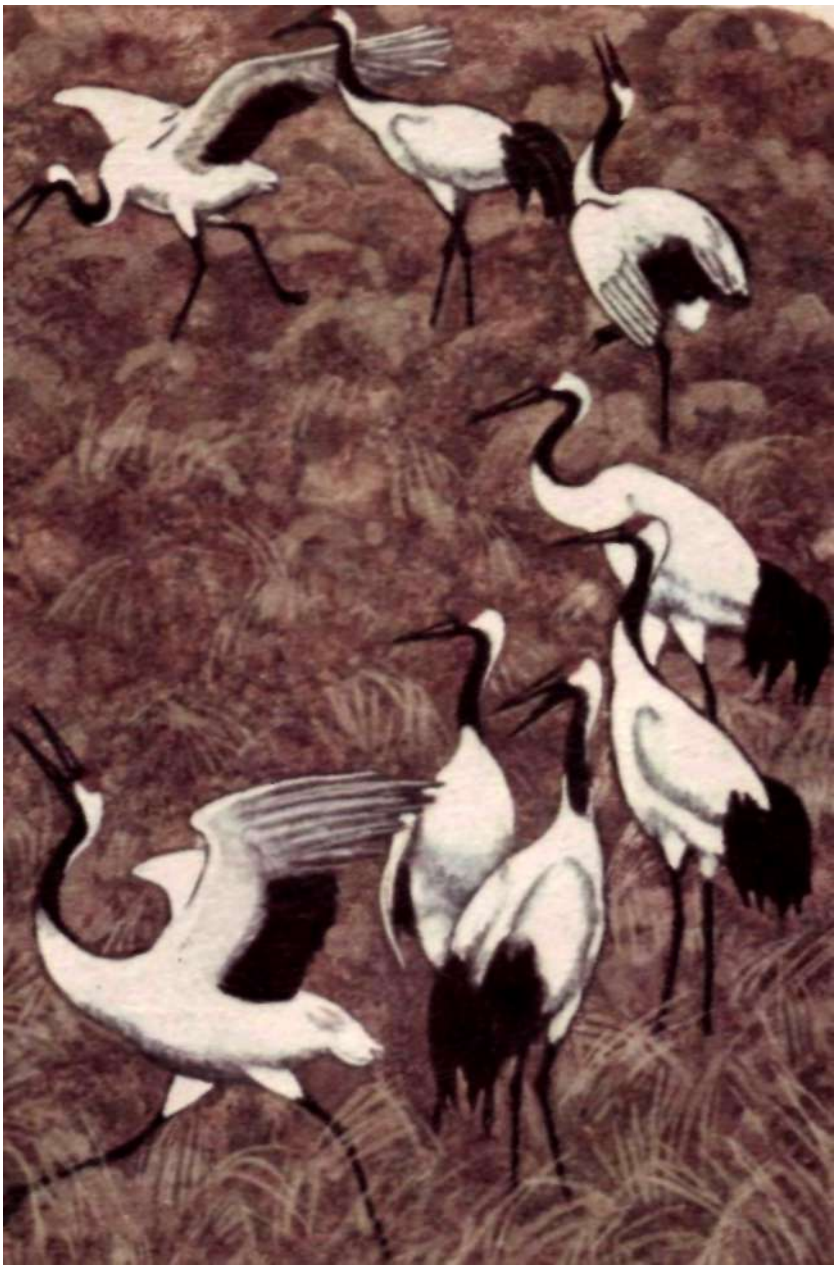
Через сильный морской бинокль я завороженно любовался внушительностью, статью и поразительной красотой журавлей: туловище в ослепительно белом, с нежнейшим голубоватым оттенком, пере, большая часть шеи и обрамляющие хвост длинные плечевые перья — угольно-черные. Передвигались они степенно, величественно, поистине с королевским достоинством, обозревали просторы «своей» мари, на которой устроили гнездо, внимательно и строго...

Я смотрел на них и вспоминал, как однажды по весне «подсмотрел» удивительный танец журавлей.

Танцевали они самым настоящим образом: красиво распускали веера больших крыльев и взмахивали ими, хлопали, картинно подпрыгивали, приседая, низко кланяясь и исторгая музыкальные звуки в такт своим движениям: «Йянг-йянг-йянг!..» А то вытягивались в зенит, словно купол неба на длинный и острый клюв нанизать хотели, и трубно кричали, изливая в звонком волнующем голосе экстаз весенней страсти. Натанцуется один журавль вволю — и в круг становится, а его место в центре занимает другой. И каждый как бы стремится перетанцевать своего предшественника, чтобы больше понравиться внимательным зрителям.

Наверное, с час горели журавлиные пляски. И вдруг все птицы шумно взлетели и закружились белым трепещущим пламенем в голубизне неба, закружились величественно и слаженно, переговариваясь оживленно и страстно.

Потом журавли разбились по парам и запланировали, широко распластав крылья, к земле. Прощупав чутким слухом все шорохи, зорко осмотревшись и ничего подозрительного не обнаружив, они радостно начали парные танцы любви и нежности.



Птицы кланялись, вытягивались слегка прогнутыми шеями друг к другу, ласково и томно кивая красношапочными головками. Истомившись в поклонах, они изящно подпрыгивали, играя огромными крыльями. Прыжки становились все выше, птицы как бы замирали в воздухе. Потом они поднялись на крыло, несколькими сильными взмахами взлетали невысоко и грациозно планировали вниз, опираясь крыльями о воздух и касаясь ими друг друга.

Кругом танцевали журавлиные пары, и мне казалось, что танцует вся земля, очнувшаяся от летаргического зимнего оцепенения...

Но смысл моего рассказа не в описании красоты и горделивости журавлей — хочу поведать об их мужестве.

Самец и самка отлучались от гнезда ненадолго, но довольно часто, потому что было в нем подрастающее поколение, которое отсутствием — и даже умеренностью! — аппетита не страдает.

И вот как-то раз, когда один из родителей стоял на краю гнезда, а снизу тянулись к нему длинные, но слабенькие

клювики, над марью пролетал орлан-белохвост — ближайший родич знаменитого беркута, не уступающий ему ни размерами, ни силой, ни отвагой, ни охотничьим мастерством. Над гнездом он закружил и пошел на снижение...

И тогда журавль, издавая трубный боевой клич, ринулся в небо встречь врагу, воинственно устремив вперед, как рапиру, свой длинный острый клюв. Я подумал: «Куда ты! Это же могучий хищник, вооруженный совершеннейшими орудиями смерти. Саданет сейчас стремительно пикирующий хищник своей бурой мощью это белоснежное великолепие, долбанет клювищем, вцепится серпами иглоострых когтей — и полетят к земле белые перья...» Но, хорошо понимая значение в воздушном бою высоты, журавль ловким маневром уклонился, оказался над орланом и, развернувшись, в решительном пике бросился на врага.

Драка была ожесточенной. Птицы делали «петли», резкие выпады в стороны, набирали высоту и пикировали. Они переворачивались вниз спиной, выставив кверху ноги, сжимались тугими пружинами и с силой распрямлялись. Они то сплетались в клубок, то разлетались и опять сшибались. А вниз летели белые, бурые и черные перья...

Раньше я белохвостого орлана не раз видел и в спокой-

ном полете, и в «деле», а потому его мастерство в воздушной схватке меня не удивляло. Но поражала стремительность и ловкость журавля, полет которого я знал хотя и сильным, но степенным, даже немного ленивым.

И все же орлан одолевал отважную мирную птицу. Я уже думал было, что вот-вот настанет кровавое торжество хищника, как увидел пикирующего на подмогу из поднебесья второго журавля... Может быть, испугался орлан, может быть, благоразумно решил, что двоих не одолеть,— не знаю. Но он стремительно заскользил к лесу, а журавли на некотором расстоянии сопровождали его, победно и негодующе вскрикивая. Развернулись они почти надо мной, и так низко, что я хорошо рассмотрел на белых роскошных перьях затейливые узоры, подобные тем, что бывают на оконных стеклах в мороз...

А потом журавли ходили и ходили вокруг своего гнезда, успокаиваясь, освобождаясь от перенапряжения, и мне казалось, что они разговаривают о родительском долге и родительской самоотверженности.

«Жа-а-ба!..»

...Я уже выходил из леса к селу, как услышал ребячьи крики — азартные, воинственные. А через несколько минут увидел: на веселой, зелено забрызганной солнцем опушке мальчишки яростно сбивали палками и тут же беспощадно растаптывали красные мухоморы.

Было это в августе, когда хорошо уродил белый гриб, а ему-то мухоморы часто сопутствуют. Они выглядывали из травы и мха, из-за пней и деревьев — поодиночке, ватагами, а кое-где хороводились просторными кругами.

— Ведьмино колесо! — кричал один мальчишка.— Ко мне! Ведьмино колесо! В атаку!.. Мухоморы, мухоморы, вы разбойники и воры!..

— Зачем,— спросил я,— вы уничтожаете этих «красных шапочек»?

— Но ведь они ядовиты! — дружно ответили мне.

— А кто вам, ребята, сказал, что все ядовитое надо уничтожать? Знаете ли вы, что даже змеиный яд в малых дозах — лекарство? А говорил ли вам кто, что мухоморы с аппетитом едят заяц и белка, косуля, олень и даже корова? И не просто едят, а лечатся ими от глистов? Никто не заставляет вас собирать, а тем более есть мухоморы да поганки, но зачем же их втаптывать в землю? Да вы только посмотрите, как эти мухоморы красивы, как весело сверкают их красные зонтики в сочной зелени! И скажите, кто дал вам право над этой красотой измываться?! Вам в школе говорили, что в природе все нужно любить и уважать, все — даже мухомор и поганку, даже пауков — не очень-то приятных насекомых?

— А жабу тоже надо уважать? — вызывающе прервал мою лекцию один паренек.

— И жабу! Не только уважать, но и любить. Вот послушайте, как я дружил с жабой. Да-да, дружил... Шли мы както с сыном с речки домой и услышали отчаянный девчоночий писк. Примчались, ожидая застать беду, а там две первоклашки, взобравшись на бревно, жалуются такому же малышу: «Туда попрыгала жаба, там сидит...» Маленький рыцарь был намерен смело расправиться с «врагом», но мы не дали ему погубить безобидное существо.

Принесли мы ту жабу домой, посадили в тарелку с мокрой тряпкой и определили в самый темный и спокойный угол на кухне. Сын наловил мух, накопал червей и, дождавшись вечера, который для жаб все равно что для людей утро, стал кормить нашу гостью...

И можете себе представить — мы прониклись к этой жабе уважением и симпатией. Передвигалась она неуклюже, осторожно, поочередно забрасывая свои толстые ножки и задирая голову, а на ее совсем беззлобной мордочке светились какие-то печальные, застенчивые глаза. Будто ей было стыдно за свой неказистый вид, за тот слух, что идет о ней у людей.

Да уж чего только не говорят о жабе гадкого да брезгливого: и хвори-де от нее, и бородавки, и отрава... А все это — пустые наговоры. Единственное, к чему люди могли придраться, так это к «ядовитости» жабы. Действительно, у нее в коже есть специальные железы, выделяющие ядовитую слизь. Но кожный покров от нее надежно защищает, хотя слизистые оболочки да ранки жжет... Неопытный хищник, схватив жабу в пасть, тут же ее выбрасывает, долго кашляет и плюется и уж потом никогда на нее не зарится. Тот же, кто от жадности жабу проглотит — ну, скажем, собака,— погиб-

нуть может... Но должно же такое безобидное и малоподвижное животное иметь хоть какую-нибудь защиту! Жить-то все хотят...

Вижу: заинтересовалась моя аудитория. Помолчал я немного, но меня тут же заторопили:

— Ну а дальше-то что? Что с жабой дальше было?

— А дальше было самое интересное. Стали замечать мы, что у нашей Акулины — так мы ее прозвали — по утрам раздутые бока, хотя кормили мы ее вечерами, и кормили скромно. А сын как-то и говорит: «Ты замечаешь, что у нас тараканов становится меньше?» Ну я и догадался... Поздним вечером мы увидели, как Акулина со своей тарелки перебралась к продуктовому шкафу и затаилась между ним и стеной. И вдруг — легкий щелчок, потом другой, третий... Посветили фонариком место ее засады и увидели: не успел таракан вылезти из щели, как она выбросила свой длинный липкий язык и отправила добычу в желудок...

Прежде чем только мы ни травили тараканов — ничего не помогало, а Акулина избавила нас от них за какой-то месяц. Избавила нас, а потом соседей по дому, и из других ее стали просить.

Когда на нее нечаянно наступили ночью и раздавили, сын плакал...

Помолчали мои слушатели, повздыхали и глядят на меня, будто ожидая продолжения разговора.

— Но ведь жабу, мальчики, уважать нужно не только потому, что она имеет право на жизнь,— из ее ядовитых выделений тоже можно изготовить хорошие лекарства. В старинной и народной медицине яд жаб имел немалое

значение. Из него делали болеутоляющие снадобья, мочегонные, глистогонные. Даже сердечные лекарства. В соответствующих дозах жабий яд подобен кокаину и адреналину. Поверьте мне, в медицине его, этот яд, ждет хорошее будущее... А вы — жа-а-ба!..

Странная птица дикуша

Осенью я и мои друзья Саша и Николай, тяжело нагрузившись рюкзаками, заходили на полевые работы в хребте Малого Хингана. Была в силе осень, по первой нежной пороше наследили медведи, соболи, лоси, настрочили крестиков рябчики.

Еле заметная звероваая тропа, по которой мы шли, то жалась к густым ельникам, то уходила к горным террасам. Было так тихо, как бывает лишь осенью, когда лес печален, небо холодно-безоблачно, а воздух неподвижен. Эту тишину нарушали лишь бег ключа по камням, наши трудные шаги да глубокое дыхание.

И вдруг у реки кто-то коротко вспорхнул, потом еще и еще. Мы остановились. Саша сбросил рюкзак, осторожно пошел на шум, замер и поманил нас пальцем, улыбаясь.

Это были таинственные дикуши. Два самца. Птицы вроде рябчиков, только побольше, потемнее и округлее. А над глазами ярко-красные, как у глухаря, брови. Николай обронил: «Рябчики», но когда я поправил его: «Дикуши! Из Красной книги!» — он сунулся за фотоаппаратом.

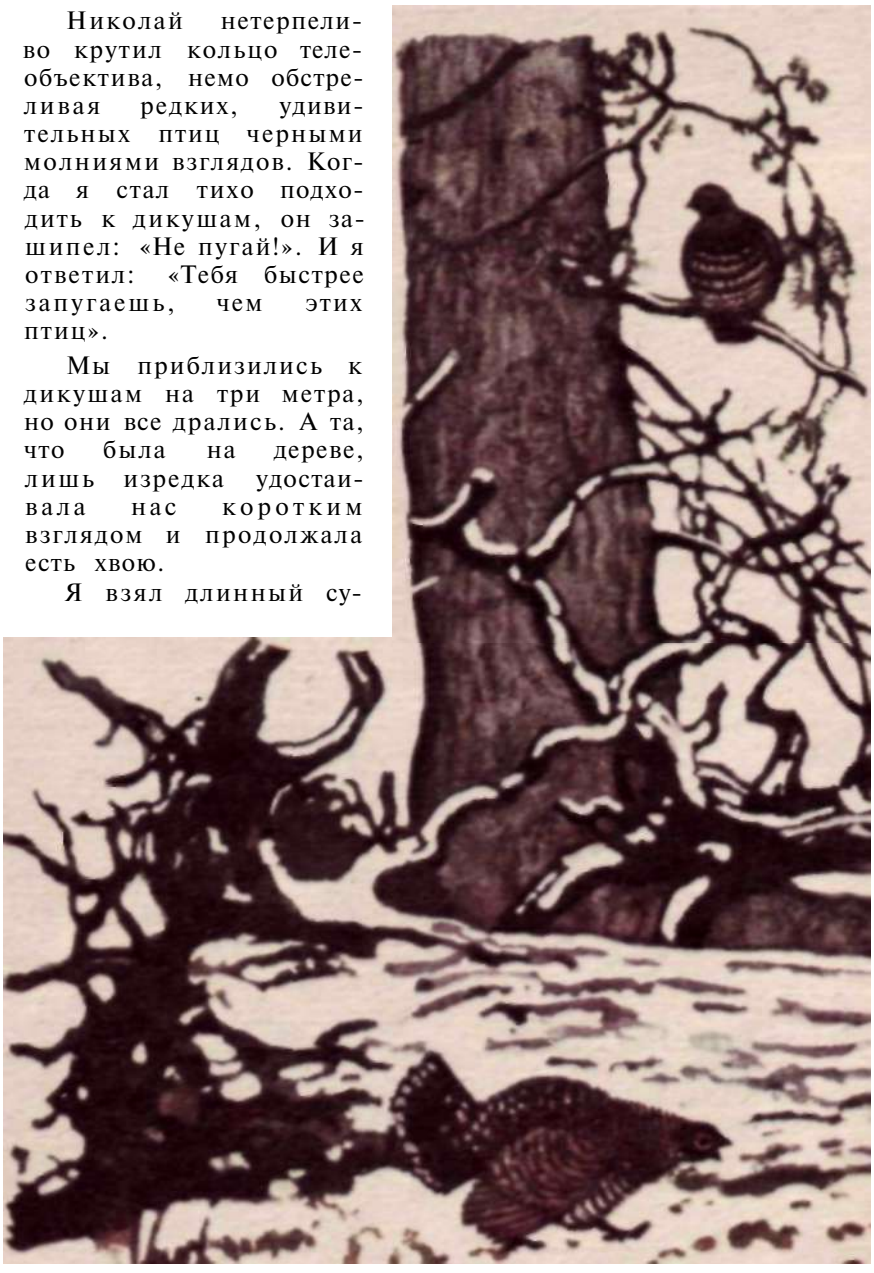
Дикуши дрались под деревом. Совсем как наши петухи. Взъерошив перья, птицы прицеливались друг в друга клювами, наскакивали, бились головами, ногами, крыльями и снова замирали, выбирая удобный момент для прыжка. Я заметил, что оба они бросали короткие взгляды куда-то вверх. Посмотрел туда же и увидел на елке курицу-дикушу. Теперь стало ясно, чего не поделили петухи.

А она, казалось, не обращала на шумно соперничавших кавалеров никакого внимания и спокойно поклевывала еловую хвою, медленно прохаживаясь по толстому суку.

Николай нетерпеливо крутил кольцо телеобъектива, немо обстреливая редких, удивительных птиц черными молниями взглядов. Когда я стал тихо подходить к дикушам, он зашипел: «Не пугай!». И я ответил: «Тебя быстрее запугаешь, чем этих птиц».

Мы приблизились к дикушам на три метра, но они все дрались. А та, что была на дереве, лишь изредка удостаивала нас коротким взглядом и продолжала есть хвою.

Я взял длинный су-



хой прутик и осторожно помахал им между драчунами. Только это и положило конец драке. Один петух вспорхнул на корягу, взъерошил перья, опустил крылья и высоко запрокинул голову, пугая, очевидно, теперь нас, а другой тем временем взлетел к курице. Увидев такое, первый тут же последовал за своим соперником, и вот все три чудные, редкие птицы сидят рядом, на одном суку, равнодушно-спокойно взирая на нас, медленно прохаживаясь, издавая какие-то непонятные не то фыркающие, не то хрюкающие звуки.

Концом прута я тихо провел по перьям одной птицы, другой, третьей, а они на него смотрели даже без любопытства. Их внимание больше привлекали щелчки фотоаппарата, чем прут. Даже не верилось, что жители тайги могут быть столь беспечны.

' «Странные вы птицы, дикуши,— мысленно говорил я им.— Нет в вас страха к людям — и в том ваша беда. Скажите, почему совсем не боитесь? Ну, если природой это заложено, так уж можно было и научиться оберегаться. Как это нелепо в наше время — быть таким доверчивым. Сорок лет назад вы встречались в ваших родных ельниках стаями по двадцать, тридцать, а то и сорок штук, а теперь

человеку можно проходить по лесам несколько месяцев и ни одного «смирного рябчика», как называют вас удэгейцы и нанайцы, не встретить... Милые, милые, ведь так вас скоро может совсем не стать... Подумайте...»

Глаза оленухи

Шел конец весны. Головокружительно благоухало лесное первоцветье. Неистово токовали бекасы и кукушки. Жаворонки, повиснув в голубой вышине, захлебывались своими песнями...

Любуясь пробуждением всего живого, я тихо шел по лесу, сбивая утреннюю росу, смотрел на нежно-зеленые кедровые сопки, белое пламя березняка...

И вдруг в нескольких шагах я увидел пятнистую оленуху. Одну из тех, которых называют чудом природы, олень-цветком. Она взволнованно топтала шлифованными копытцами землю и бросала тревожные взгляды то на меня, то куда-то в сторону.

Я догадывался, что это мать, а где-то близко ее дитя, но недоумевал, почему она не убегает, не отводит человека от теленка, как обычно бывает в таких случаях. Стал подходить — очень медленно и осторожно, чтобы не запугать зверя. Вдруг оленуха сорвалась с места, но, сделав несколько прыжков, снова остановилась.

Осмотревшись, я увидел застрявшего в низкой развилке маньчжурского ореха теленка, такого же прекрасного, как его мать, только еще более нежного и трогательного. Очевидно, несмышленыш, резвясь, неудачно прыгнул и застрял в сужении рогатины, не доставая копытцами до земли. Застрял так предательски прочно, что и мать ничем не могла помочь.

Теленок был еще жив, но, когда я вытащил его из ловушки и опустил на землю, он бессильно растянулся на глянцевой зелени. Я попытался помочь теленку, сильно дул в рот, делал искусственное дыхание и просто трепал его: ну встань же! — все было напрасно.

Когда я выпрямился, утирая вспотевшее лицо, то вздрог-

нул от неожиданности: оленуха стояла рядом. Она, наверное, из-за моей спины внимательно следила за всем, что я делал. Я пробормотал виновато: «Ничем не могу помочь»,—а она в ответ, будто поняв смысл слов по тону голоса, горестно опустилась на колени перед малышом, обнюхивая его, точно лаская... Я ушел.

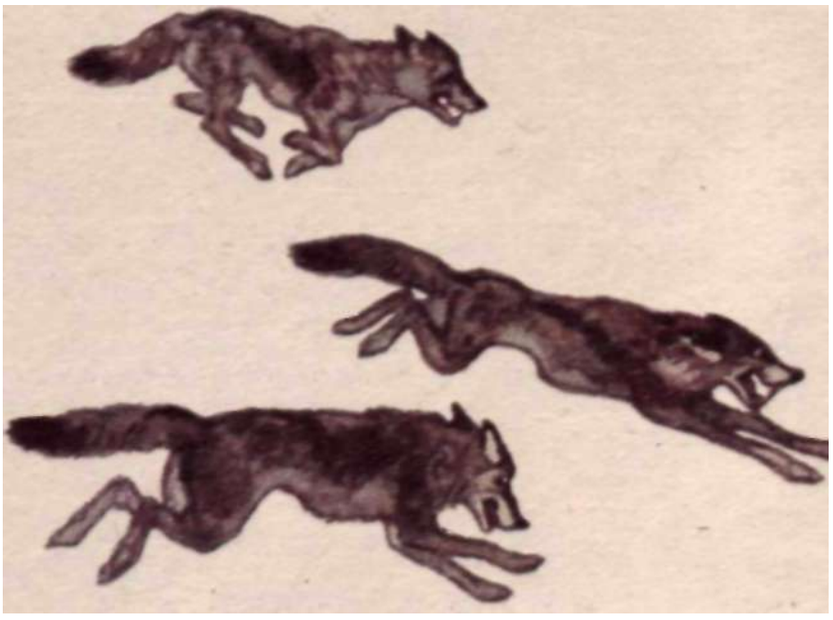
Только я успел отшагать с полсотни метров, как оленуха догнала меня и загородила тропинку, словно хотела остановить меня, что-то сказать... Впрочем, нетрудно догадаться, что именно. И я ответил: «Извини, не могу. Мы, люди, далеко не так всемогущи, как кажется вам, зверям. Мы часто слабее и беспомощнее вас...» А она все стояла, и в глазах набухали крупные слезы, светившиеся голубым и зеленым блеском неба и леса, а больше всего — упреком и страданием. Я ни в чем не был виноват перед нею, но долго еще, вспоминая эти глаза, не мог простить себе чего-то.

Косули в поселке

Как-то в марте выпало небывало много снега. Вечером я проходил мимо большого поселкового парка, смыкающегося с заснеженными лугами и перелесками, и увидел вдруг потрясающую картину.

Взвихривая снежную пыль, прямо по парку к домам несся табун косуль, преследуемый тремя волками. Косули прыгали с трудом — под ногами не было твердой опоры. Серым-то наглецам бежать по траншейному следу своих жертв было намного легче. Они на моих глазах настигли отставшую и принялись рвать ее. Раздался истошный, жалобный крик.

Пока волки были заняты добычей, остальные косули, на последних жалких всплесках сил, достигли штакетниковой изгороди, отделявшей парк от улицы, и начали перепрыгивать ее тяжело и неумело. Первым взвился крупный козел, но, ударившись грудью о штакетник, обломил его и рухнул на тротуар. Другие косули влетели в образовавшийся проем, с хрустом и скрипом переминая тонкими острыми копытцами снег поселковой дороги.



Дома стояли рядом, из труб шел дым. Пахло навозом, лаяли собаки, вдали ревел заводской гудок. Сбежались люди, окружили косуль, отогнали разъяренных псов, а потом направили их по следам волков — те уже убежали.

Косуль я видел совсем рядом. Хорошо помню, как тряслись их запаленные охристо-серые тела. В больших выразительных глазах светились покорность и мольба о пощаде. Пока какой-то мальчуган бегал к нашему школьному конюху за подмогой, косули стояли, тесно сгрудившись, в плотнрм людском окружении. Кто-то предложил их «оприходовать», оправдываясь военной голодухой, но на него так дружно навалились: «Креста на тебе нема!», «Тебя бы самого оприходовать!»—что он тут же растворился в толпе. А косули тем временем обессиленно легли.

Осторожно подъехали устланные сеном розвальни. Когда в них укладывали косуль, те не сопротивлялись, как будто понимали наши добрые намерения. Пленников — или гостей? — увезли в пустой сарай рядом со школьной конюшней.

Мы, школьники, утеплили сарай, натаскали в него из разных дворов самого мягкого разнотравного сена. Подкармливали косуль картофельными очистками, поили, ограждали от чрезмерного внимания. И даже приручить пытались.

Они вроде бы и привыкли к нам, как мне казалось, но, когда снег сильно подтаял, ушли-таки домой, в лес. Ночью проскользнули в двери сарая, непонятно как отворившиеся, а затем в проем того же штакетника. И, наверное, очень тихо и осторожно покидали они поселок, потому как даже чуткие псы этот побег прозевали.

Нет ничего ближе отчего дома, земли родной. Даже если в них трудно, тяжко жить, все равно тянет неодолимо. Поговорка: «Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит» — касается не только серого. Как много известно случаев и примеров, когда пойманные взрослыми звери или птицы с тоскою смотрели на лес или в свободное и чистое небо! И при первой же возможности они покидали человека, даже если он спас их от гибели, был ласков и заботлив.

Изюбриха

В ноябре на Сихотэ-Алине снега обычно еще мало, но морозы уже сковывают реки, день ото дня сужая черные дымящиеся полосы рек. Вода тяжелеет от холодов, становится как бы вязкой, густой. Непрерывной чередой плывут льдины и льдинки, забивая речные излучины, где образуются прочные и непрочные «мосты». Иногда поверх тонкого льда ляжет слой снега — и превратит его в коварную ловушку.

В ноябре случаются и оттепели, во время которых реки взламывают ледяной панцирь, слизывают его силой своего течения. Ненадолго, конечно: холода возвращаются и наверстывают упущенное.

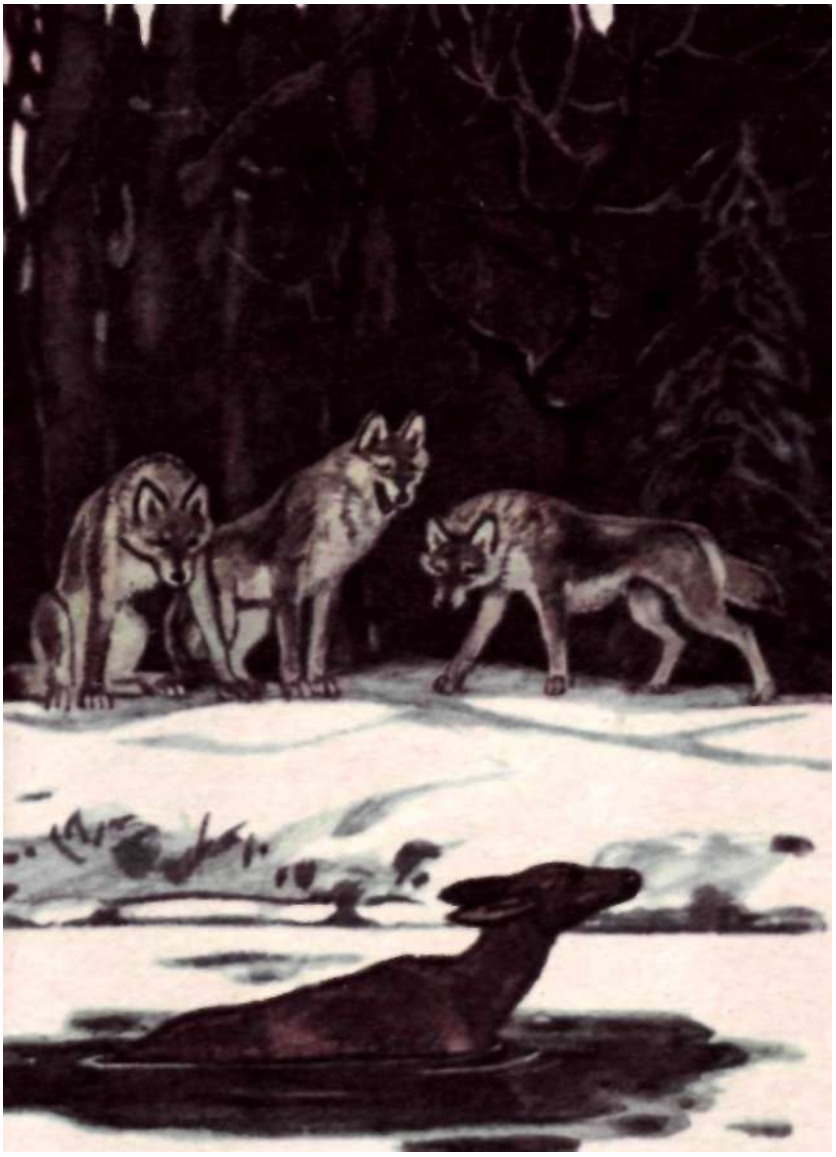
В один из таких ноябрьских дней я шел по долине Бикина. Множество следов белок, колонков, кабанов... Все эти следы тянулись, переплетались как-то спокойно, размеренно...

И вдруг взрыхленный до жухлых листьев и хвои снег широкой полосой пересек мой путь, резко нарушив картину этого умиротворения.

Пройдя немного, по следу понял, что три волка преследовали изюбриху. Судя по частым каплям крови, погоня была в завершающей стадии.

Пытаясь угадать исход, я рисовал в воображении полуобглоданный труп очередной жертвы волков, но вскоре с берега речной протоки увидел совсем свежие следы только что убежавших волков и вмерзшую в молодой тонкий ледок полыньи изюбриху. Надо льдом поднималась лишь верхняя часть ее туловища, уже покрытая слоем льда. Несчастное животное еще держало голову, но силы покидали его.

Очевидно, бедняга выскочила на стеклянно-тонкий лед и с ходу провалилась в полынью глубиной чуть больше метра. В попытках вырваться из ловушки, достигнуть берега изюбриха ломала лед грудью и ногами. А волки, предчувствуя обильную поживу, то и дело устремлялись к



жертве, но, окунувшись в ледяную воду, с визгом выскакивали, отряхивались, сушили шкуры. Повалявшись в снегу и отогревшись, хищники снова и снова тянулись к добыче.

Волки пробовали добраться до изюбрихи вплавь, однако та твердо стояла на ногах, встречала серых ударами копыт.

К ночи мороз усилился. Замерзала тайга, замерзала вода, замерзала изюбриха: Края полыньи стянулись к центру, навалился тонкий ледок... Дольше всего лед не мог сковать реку около изюбрихи, потому что она изредка шевелилась и чуть-чуть согревала полоску воды.

В какое-то время, очевидно под утро, изюбриха предприняла еще одну попытку спастись. Она стала грудью и ногами ломать совсем молодой лед, добираясь к берегу, но волки дежурили бдительно. Ей пришлось вновь отойти к середине полыньи.

Волки ждали, когда ледок окрепнет, а их жертва замерзнет. Я помешал им своим появлением. Но как же помочь несчастному животному? Вода в полынье дошла бы мне почти до груди, лед не удержит. Изюбриха была всего в каких-то восьми — десяти метрах от меня. Я наивно уговаривал ее подойти ко мне, вылезти. Она не понимала, да и сил, видно, не было — лишь покорно и умоляюще смотрела, ожидая помощи, спасения, чуда.

В рюкзаке было несколько прочных капроновых веревок. Связав их, я сделал на конце петлю с ограничителем из палочки, чтобы не стягивалась намертво, и попытался набросить на шею изюбрихи, чтобы вытащить ее. Но ковбой из меня оказался неважный, а потому я сумел накинуть на шею умирающего животного петлю лишь через полчаса, если не больше.

Кое-как вытянул я на берег изюбриху. Но было уже поздно. Она даже не могла подняться на ноги. Я разжег около нее два костра, надеясь обсушить и отогреть, но и это не помогало.

Все еще надеясь на лучшее, я придерживал голову изюбрихи, уговаривая ее потерпеть еще немного, а она, как мне казалось, с тоскливой благодарностью смотрела на меня. В больших влажных глазах умирающей светилась тоскливая мольба. Но через миг их затянуло тенью покорности и безразличия.

Как будто близкий человек умер на моих руках...

Спасенный сивуч

Наша палатка светлела выцветшей зеленью на высоком мысу узкого лесистого полуострова, глубоко вторгшегося в море и отделившего от него тихую, глубокую бухту.

Мы с группой матросов закончили строительство наблюдательного пункта и второй день ждали катер, чтобы возвратиться на базу. Сиял золотой приморский сентябрь, мы ловили рыбу, креветок и трепангов, собирали устрицы и гребешки, ходили в ближние дубняки по грибы, лимонник и дикий виноград. Купались, загорали, изощрялись в приготовлении кушаний. Но больше наблюдали за морем.

Оно ярилось под мысом средь кекуров, скал и камней, и в этих кипящих волнах играли сивучи. Поначалу они относились к нам настороженно, потом привыкли: мы их не трогали, не беспокоили, не стесняли их вольную, мужественную жизнь. Я, затаившись, часами любовался виртуозностью их прыжков в воду, смелостью плавания, забавными играми молодняка и степенностью взрослых.

Секачи подолгу грелись на солнце, взгромоздившись на недоступные волнам камни, и самки тоже вели себя степенно. А вот лишь входящее в силу поколение не хотело покоя. Насытившись рыбой, они гонялись друг за другом, шутливо боролись, затевали своеобразные состязания по прыжкам в высоту.

Была там одна скала с пологим склоном с одной стороны и вертикальным обрывом с другой. И эти «парни», неуклюжие на суше, трудно взбирались, извиваясь, на самый верх и, покрасовавшись на обрыве, устремлялись вниз. Метров с десяти! И удивительно: их обтекаемые тела пронзали водную поверхность не то что без всплеска — без брызг!

...Как-то чуть свет я проснулся от громкого, дружного, явно тревожного рева чем-то обеспокоенных сивучей. Подошел к краю мыса, но внизу не было ничего видно, только слышались удары волн и рев зверей. И лишь когда над

сверкающим морским простором поднялось умытое утренней росой белое солнце, я рассмотрел недалеко от берега молодого сивуча, накрепко застрявшего меж двух гладких каменных «столбов». Может быть, его забросило в ловушку на гребне «девятого вала», может быть, и сам туда неосторожно запрыгнул, стремительно вырвавшись из воды. А теперь лишь редкие волны касались его тела.

Был он зажат в каменных тисках, видимо, уже давненько, потому что ласты его и голова устало обвисли, он еле шевелил ими и уже не кричал, а постанывал. А вокруг суетились и ревели соплеменники, не зная, как вызволить беднягу.

Собрались матросы. Повздыхали. Посовещались. И решили спасти бедолагу.

Подплыли мы к нему на резиновой лодке. Пленник в последнем усилии поднял голову, просяще, но вместе с тем и гордо посмотрел на нас...

Спасательная операция была долгой и трудной. Попробовали, попрыгав в воду, подплыть под зверя и приподнять его, но не было нашим ногам опоры и усилий рук оказалось мало. Попытались стащить веревками — не вышло. Наконец решили втиснуть между предательских камней лодку, поставленную и притопленную боком, и ждать «девятого вала». Мы посинели от холода, но все же дождались. Лодка поднялась на волне и вытолкнула, с нашей помощью, вконец обессиленного пленника из теснины.

Оказавшись на свободе, он не обрадовался, не взревел, не ринулся прочь, а безвольно распластался на воде, таращa на нас свои громадные глаза. Мы заарканили освобожденного и потянули его в бухту.

Вытащили на берег, промыли марганцовкой раны на боках. Рыбу сивуч принял лишь к полудню. Пять часов зверь приходил в себя, и пять часов сородичи своим ревом словно вопрошали: ну как он там?

К вечеру спасенный вроде бы и в силу вошел, но уходить от нас не спешил. Охотно ел рыбу, трепангов, заглотил, выпучив глаза, выброшенного на берег небольшого осьминога. А смотрел на нас хотя и не без настороженности, но явно благодарно.

Следующим утром на берегу его не оказалось, но когда я с увесистой треской подошел к тому месту, где мы его отходили, какой-то сивуч заспешил из воды к берегу и вскоре смело заизвивался, задергался к моим ногам. На боках его бурела марганцовка...

А какой это осторожный и к человеку недоверчивый зверь — сивуч. Обитатель Тихого океана. Ближайший родственник морскому котику и в какой-то мере разделивший его трагическую "судьбу". И тех и других сначала почти всех перестреляли, а потом взяли под охрану закона. А заботу и те и другие поняли...

Тетерка

Однажды мы с товарищем, сторожа закидушки, варили уху на высоком яре Тунгуски. Тихо было, солнечно. Только комары надсадно гудели да журчала и плескалась вода. В высоком ясном небе плавали снежно-белые груды облаков. Что-то высматривая, парили коршуны, трепетали жаворонки, неутомимо и щедро рассыпая свои серебряные песенки. И припекало яростное июньское солнце наши тощие тела, выстывшие в сыром холоде ночной рыбалки.

Вдруг что-то зашумело, захлопало, замелькало, и над березами и осинами мы увидели рыже-рябенькую тетерку, преследуемую пестро-полосатым ястребом-тетеревятником. Когда несчастная взмыла вверх, неистовый убийца начал быстро ее настигать. Поняв, что в свободном полете от врага не уйти, тетерка, прижав крылья, ринулась вниз. Но ястреб, более ловко маневрируя своими широкими округлыми крыльями и длинным хвостом, с каждым взмахом приближался к жертве. Вот-вот полетят ее перья...

Мы закричали, затопали, замахали руками, запрыгали,

чтобы напугать преследователя, и тут совершенно неожиданно, как в сказке, тетерка повернула к нам и с размаху шлепнулась почти у самого костра, распластав крылья, часто и сипло дыша, изнеможенно закрывая глаза.

Ястреб с резкими возмущенными всхлипываниями свистяще пронесся над нашими головами, расставив длинные желто-когтистые ноги, развернулся в широком плавном круге и уселся на сухой вершине огромного тополя.

Мы смотрели на него с ненавистью. О, если бы ружье! Мы знали этого разбойного вора, хватающего из засады синицу, утку, зайца, гоняющего их даже при сытом брюхе, просто ради убийства, и потому были безмерно рады за тетерку, только поражались, как это она решилась искать спасения у людей, среди которых немало и «двуногих ястребов».

Присев, мы погладили птицу по взъерошенным перьям, взяли на руки — никакого сопротивления. Она была парализована страхом, ведь только что чудом спаслась от смерти. Да и от нас, наверное, все-таки ожидала чего угодно, хотя и сдалась на нашу милость.

Мы выволокли из воды деревянный садок с наловленной рыбой, нанизали ее на кукан, а садок устлали травой и поселили в него добровольную пленницу. В щели мы видели, что она оставалась все так же безучастной ко всему и неподвижной.

К вечеру, после ожесточенных споров — время было очень голодное! — мы все же выпустили тетерку на волю. Она долго, поворачивая голову то вправо, то влево, осматривала то одним глазом, то другим нас, наш скарб, релку и розовеющее небо, а потом тихо, приседая, еще не веря освобождению, засеменила к лесочку, где, судя по всему, ее ждали цыплята.

Жаль, что не смогла спасенная нами мама поведать детям о случившемся, сообщить, что человек может быть не только врагом... А вдруг как-нибудь поведала? Ведь «души» животных для нас и поныне в потемках.

...Как-то, через много лет, я встретил того друга детства, с которым мы спасали тетерку. Разговоров было много! Вспомнили и этот случай. Друг спросил: «А помнишь, как мы отпустили тетерку? Признаться, была мысль: ее — на суп... голод ведь был. Но съели бы ее — всю жизнь казнились бы, верно ведь?»—«Очень даже верно»,—согласился я.

Чистые души

Недаром говорится: дитя — как глина, что захочешь, то из него и вылепишь. Касается это и ребят, и зверят.

«Маугли» — талантливо сочиненная, красивая сказка. В действительности ребенок, выращенный и воспитанный волками или обезьянами, много перенимает от своих «приемных родителей», а еще больше теряет человеческого: не умеет говорить, рассуждает крайне примитивно, его поведение с человеческой точки зрения нелогично, даже ненормально. И в физическом развитии в нем много от звериного: то и дело опускается на четвереньки, руками владеет неуклюже, есть и пьет, как принято в его «обществе».

А теперь перейдем к зверям.

Нашли мальчишки в весеннем лесу только что увидевшего свет зайчонка. Принесли домой, показали родителям, а те их отругали и велели отнести этот живой серый комочек туда, где подобрали. Но сорванцы ослушались отца с матерью и оставили своего найденыша на прокорм и воспитание у только что ощенившейся собаки.

Нелегкое это оказалось дело — подсунуть ей бог весть что. Собака рычала, выкатывала лапой серый комочек из клубка своих чад и знать его не желала. Но потом, когда зайчонка вымазали собачьим молоком и он пропах щенячьими тельцами, смирилась, приняла. А через несколько дней он стал для нее таким же любимым и родным детенышем, как и все.

Рос зайчишка в собачьей семье, быстро и добросовестно осваивая правила и законы собачьей жизни и собачьего «этикета»... Возился и играл со сводными братьями и сестрами, слушался приемную мать.

К осени он достиг размеров взрослого зайца. С виду заяц как заяц, но были у него совсем не заячьи повадки. С удовольствием ел хлеб, каши, картофельные очистки, овощ всякий. Отведывал мясного и рыбного. Правда, растущей зеленью не гнушался. Но заячьей трусости в нем не оказалось. Старался он и рычать, и лаять по-собачьи, и да-

же норовил кусаться. Братьям своим и сестрам, вымахавшим больше его, спуску не давал и ловко мутузил их лапами. Посторонних, а особенно чужую птицу и скотину, гнал со двора, потешно взлаивая...

Примеров, когда дикие животные, выращенные человеком, приручались и привязывались к нему, много. Были ручные лисы, ручные рыси, лоси, косули, изюбры... И даже ручные львы, гепарды, медведи — правда, чаще всего до поры до времени...

Но ведомы мне истории поинтереснее.

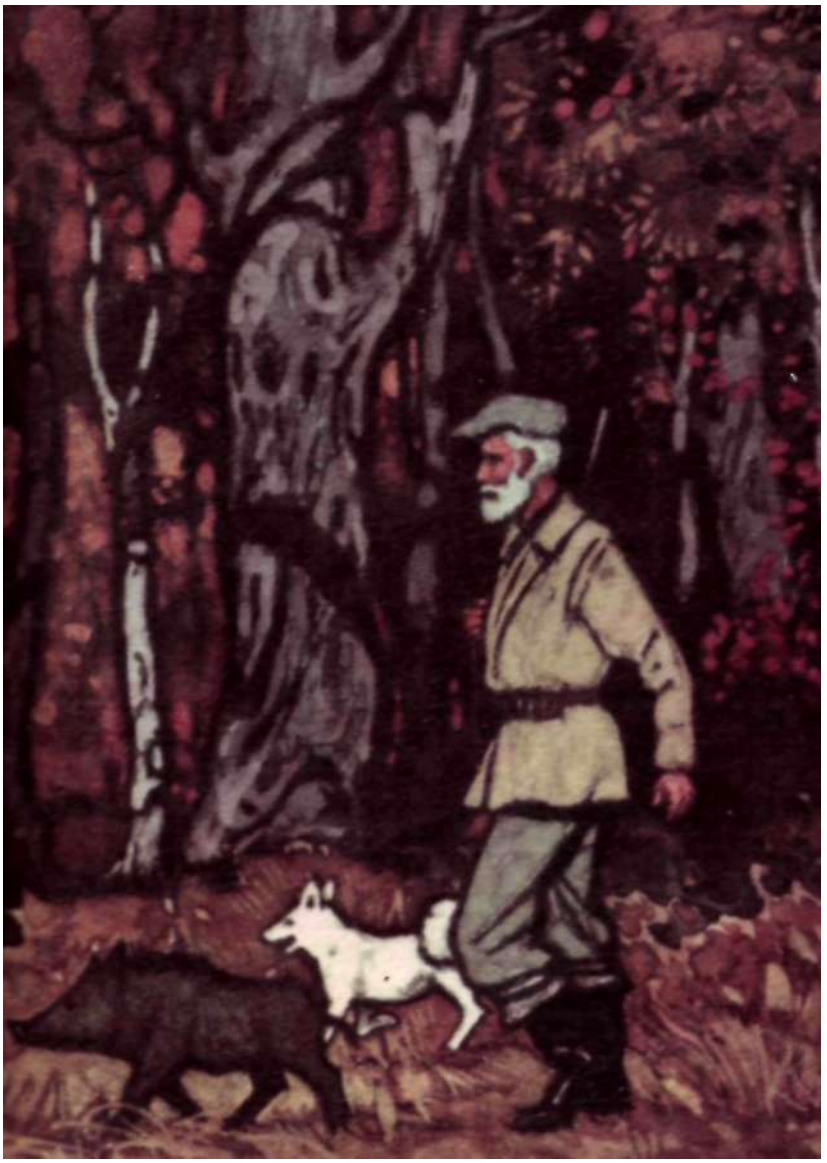
Лесник на своем лесном обходе нашел дикого поросенка с вывихнутой задней ножкой — бегать он не мог, а таких лесные свиньи бросают, как бы выбраковывают, хорошо зная, что в диком мире выживают лишь стопроцентно полноценные особи. Но человек вылечил этого детеныша, выходил, окружил заботой.

Подрастал тот кабанчик вместе со щенком-лайкой. Крепко сдружились, потешно играли. Хозяин обучал собачку всяким командам, послушанию, охотничьему ремеслу, и все это успешно усваивал тут же вертевшийся поросенок. Оказался он по части понятливости, сообразительности и памяти ничуть не хуже своего дружка. Лихо исполнял команды «ко мне», «сидеть», «лежать», «взять» и так далее.

И пошли они на осенний беличий промысел втроем. Правда, облаивать белок кабанчик не научился, но отыскивал их отменно и сразу ухал или хрюкал. Слух и обоняние у него оказались тоньше собачьих, и понятливостью он превзошел лучшего друга человека.

...Двухмесячный выдренок умудрился попасть в капкан, поставленный пасечником-охотником Курышко на ондатру в узенькой извилистой проточке между озером и рекой. Судя по следам, выдра-мать вела двух своих чад на озеро — наверное, промышлять лягушек и раков, и одному малышу крупно не повезло. Мать долго пыталась вызволить его, но пружина капкана была тугой, а цепочка к нему крепкой...

Беда случилась сентябрьским вечером, когда едва ушло солнце и на траву легла росная прохлада. К утру охотник вынул из капкана несчастного зверька едва живым: тело в насквозь промокшей шерстке почти окоченело, на передней лапке — закрытый перелом кости и сильный отек. Отпусти его — мать найдет, но сможет ли она спасти столь тяжко



пострадавшее и ослабшее дитя? «Вряд ли»,—решил невольный виновник несчастья и понес выдренка на свою пасеку, по дороге осушая его запасной портянкой и отогревая за пазухой.

Курышко примостил на прогретом солнцем подоконнике сухой кедровый ящик, устлал его чистой старой своей рубахой, уложил туда звереныша. Наловил на речке лягушек и раков, которых выдры любят поболее рыбы, развел и подогрел сгущенного молока... А выдренок в своем сухом и теплом гнездышке тем временем немного отошел и, едва войдя в силенку, выпрыгнул из ящика. На подоконник, на стол, на табурет... Кое-как изловил его пасечник, водворил в ящик и прикрыл одеялом, чтобы успокоился.

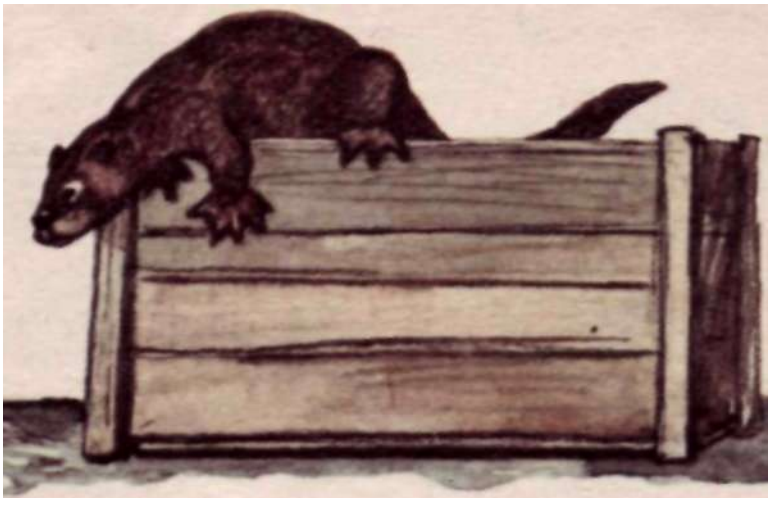
В своем нежном возрасте этот выдренок был звереныш зверенышем: в руки не дается, злобно шипит и фыркает, норовит укусить. В глазах — огоньки ярости, в оскаленной пасти — иглы зубов, а во всем облике — решительность и непримиримость. «Это больной-то, а что будет, когда оклемается?» —подумал Курышко и смастерил ему из толстенного корпуса улья да панцирной сетки со старой койки добрую клетку. С теплым темным гнездом, дверцей, миской для еды.

Лапка выдренка снаружи была в загрязнившихся ранах. Их пришлось промыть марганцовкой, потом смазать йодом. Курышко поправил косточки, наложил шинки, перевязал... Думаете, так просто было все это сделать? Трудно! Звереныш бился, кусался, вырывался, кричал на все лады. Всю операцию Курышко удалось проделать лишь после того, как он выдренка связал и надел ему на голову мешочек.

Ухаживал он за выдренком, лечил его, как дитя родное. Назвал Сашкой. Приучал к себе добром и лаской. Кормить старался наипервейшими выдриными лакомствами: некрупной рыбешкой, лягушками, раками. Баловал медом, мясом, сгущенкой, сливочным маслом... Но Сашка, нимало не страдая отсутствием аппетита, уплетал и хлеб, каши, супы, борщи, овощи всякие.

Уже через неделю он окреп и поправился, хотя еще и хромал. Корм брал прямо из рук человека, в клетке не бесновался. Еще через неделю Сашка отзывался на свою кличку, позволял себя гладить, почесывать, купать. Жить он стал не в клетке, а во всем доме.

Я увидел Сашку на пасеке Курышко в ноябре того года,



когда ему было около четырех месяцев от роду, и половину своей совсем короткой жизни он пробыл на попечении умного, доброго человека. Все, что написано об этом выдренке выше, — со слов Курышко. Теперь же я расскажу о звереныше то, что увидел сам за те четыре дня, которые пробыл на пасеке.

Они были друзьями, а казались любящими дедом и внуком. Сашку я узнал исключительно веселым, жизнерадостным, в высшей мере любопытным и непоседливым существом. Ко мне он поначалу отнесся недоверчиво и настороженно, долго-долго наблюдал за мной из своего темного угла под койкой, потом с час ходил вокруг да около, обнюхивал. От резких моих движений или громких слов шарахался. Немного смирился с моим присутствием лишь к следующему дню. Но стоило хозяину позвать: «Сашка», как он уже лез на руки, как-то странно, мяукающе попискивая и мелодично посвистывая. С рук перебирался на плечи, перегибался к спине, обвивал своим удивительно гибким телом шею и заглядывал в глаза... Просто не верилось: выдренок, пробывший с матерью свои первые пару месяцев, обычно приручается очень трудно. А тут — будто родителем своим человека считал.

Он носился по избе, не оставляя за собой не только погрома, но вообще не нарушая порядка. Две страсти, как

мне показалось, владели им: еда и игра, хотя и поспать он тоже любил и дрых всю ночь, да еще днем залегал пару раз по часу-другому. Но уж если он не спал, то глаза уставали следить за ним.

Ел он быстро и, скажем прямо, жадно, хотя и понемногу. Но и во время еды играл: подбрасывал кусочки пищи и ловко ловил их. После еды ему непременно нужно было умыться, и он... просился за дверь. Странное дело: оказывается, Сашка выходил на волю и самостоятельно возвращался в дом! Я долго следил, как он неистово носился по двору, шнырял в постройки, валялся в снегу, катался на брюхе с разгона, как на санках, сбегал к полынье у речного берега.

Плавание, конечно же, было для него верхом блаженства. Он кувыркался на шумном перекате, рассекал темное от мороза зеркало плеса, исчезал в тяжелых толщах воды и выныривал с чем-то в зубах — гольяном ли, раком, а то и просто ракушкой. И тут же принимался за еду. Потом встряхнется пару раз на собачий манер — и уже сух, уже искрится своим изумительно красивым, блестящим и плотным коричневым мехом, уже посверкивает радостно живыми, умными глазами.

Он был не только весь в движении, но и в звуках. Я раньше и не подозревал, что выдра издает их так много, и

что различными их сочетаниями, громкостью и тоном способна комментировать чуть ли не каждое событие, каждый факт своей жизни. Возмущение Сашка выражал громким верещанием; при неожиданности и недовольстве шипел, резко и отрывисто хоркал; при испуге и тревоге надрывался: «Ик-анг, ик-анг!» Играя и ласкаясь, он будто смеялся: «Ха-ха-ха, ха-ха-ха», даже приподнимал губу, вроде бы в смехе. Часто выдренок свистел на разные лады — то разбойно громко, то тихо и нежно...

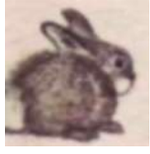
Осторожность в нем сочеталась истинно с отвагой. При мне какой-то пес неожиданно ринулся на выдренка. Я крикнул: «Сашка!» Он обернулся и увидел совсем рядом страшного врага. Мгновенно оценив обстановку, сообразив, что бегством не спастись, он... атаковал нападающее страшилище. Я уж и не смогу описать его атакующий клич, но, помню, был он резкий, громкий, пугающий. Все произошло так стремительно, что я' и понять не успел, отчего пес взвизгнул и пустился наутек. Сашка его не преследовал — застыл в воинственной позе: спина дугой, хвост кверху, оскаленная мордочка... Он угрожающе, отрывисто шипел и

хоркал, делал, когда пес оглядывался, резкие короткие броски в его сторону и кругообразно поводил головой. И лишь когда незваный гость исчез в лесу, Сашка встал столбиком, опершись на мускулистый хвост, и долго тер лапками грудь и брюхо — то ли чистил их, то ли успокаивал себя.

Я все думал, скучает ли он по матери? Помнит ли ее? А она — его? И вот что узнал от Курышко некоторое время спустя:

«Как-то вижу: Сашка после купания в полынье возится в снегу, а к нему подплывает взрослая выдра и тихо посвистывает. Он вздрогнул, обернулся, и этак они с минуту изучали друг друга. Потом старая ласково замяукала, захакала, запищала — вроде бы что-то рассказывает ему. И он пошел к ней. Стали обнюхиваться, говорить по-своему... Сжалось мое сердце, первым делом захотелось застрелить взрослую, и малопулька была в руках, да потом застыдил себя: мать ведь с сыном после трудной разлуки нежданно-негаданно встретились!.. Увела она его. Через неделю, видел я по следам, прибегал мой Сашка к дому, но отсутствовал я, на путике промышлял, и дверь была запертой. Мать от избы его унесла да, видно, потом увела подальше от пасеки... Я после часто думал: какое мне счастье, что не выстрелил тогда по выдре из малопульки! Уж больно эти звери умны, смелы да интеллигентны... Не простил бы мне Сашка... А знаешь, все надеюсь: придет он повидаться со мной, придет. Ведь я же ему как внучеку — дедушка...»

СОДЕРЖАНИЕ



От автора/5
Волчья песня/7
Скрещенные взоры/9
Отважный горностай/14
Бурундук/17
Косолапый пчеловод/19
Калуга-царица/ 22
Рыбьи пляски/24
Ласточки/28
Родительская самоотверженность / 31
«Жа-а-ба!..» / 36
Странная птица дикуша/39
Глаза оленухи/42
Косули в поселке/43
Изюбриха/46
Спасенный сивуч/49
Тетерка/52
Чистые души/55